

ИЗДАНО ОБЩИМ ТИРАЖОМ БОЛЕЕ 100 МИЛЛИОНОВ ЭКЗЕМПЛЯРОВ.

mistarium

ЭЛИЗАБЕТ ДЖОРДЖ

ПРЕДАТЕЛЬ ПАМЯТИ

СЕРИЯ СУПЕРБЕСТСЕЛЛЕРОВ О ДЕТЕКТИВАХ

ТОМАСЕ ЛИНЛИ И БАРБАРЕ ХЕЙВЕРС



ЭКСМО

Инспектор Томас Линли и сержант Барбара Хейверс

Элизабет Джордж
Предатель памяти

«ЭКСМО»

2001

Джордж Э.

Предатель памяти / Э. Джордж — «Эксмо», 2001 — (Инспектор Томас Линли и сержант Барбара Хейверс)

ISBN 978-5-699-54094-5

Молодой скрипач-виртуоз Гидеон Дэвис внезапно утрачивает не только музыкальную память, но и саму способность играть на инструменте, которым он мастерски владел с пятилетнего возраста. Чтобы излечиться от этой амнезии, он должен вспомнить все события своей жизни, которые могли привести к роковой развязке. И в его воспоминания вдруг вторгается плач женщины и одно-единственное имя – Соня. Дождливый вечером женщина по имени Юджиния приезжает в Лондон на условленную встречу. Но на дороге, ведущей к нужному дому, ее сбивает насмерть появившаяся из ниоткуда машина. Подключившись к розыску преступника, Томас Линли и его помощники Барбара Хейверс и Уинстон Нката сталкиваются с необходимостью вернуться к давно закрытому делу об убийстве. Элизабет Джордж – выдающийся мастер детективного романа. Ее творчество завоевало признание читателей во всем мире, в том числе и в России. Ее книги издаются миллионными тиражами, становятся основой для телефильмов, получают престижные литературные премии.

ISBN 978-5-699-54094-5

© Джордж Э., 2001

© Эксмо, 2001

Содержание

Мейда-Вейл, Лондон	5
Гидеон	8
Глава 1	16
Глава 2	28
Гидеон	40
Гидеон	46
Глава 3	58
Глава 4	69
Глава 5	80
Гидеон	94
Гидеон	107
Глава 6	117
Конец ознакомительного фрагмента.	128

Элизабет Джордж Предатель памяти

Посвящается еще одной Джонс, где бы она ни была

*...Сын мой Авессалом! сын мой, сын мой Авессалом!
о, кто дал бы мне умереть вместо тебя, Авессалом,
сын мой, сын мой!*

Вторая книга Царств, 18, 33

Мейда-Вейл, Лондон

«Быть толстой хо-ро-шо. Быть толстой хо-ро-шо. Быть толстой, быть толстой, быть толстой хо-ро-шо».

Топая по тротуару к машине, Кэти Ваддингтон повторяла свою обычную мантру в такт тяжелым шагам. Она напевала ее про себя, а не вслух, и не только потому, что шла одна и боялась показаться чужаковатой. Дело в том, что ее легкие не справились бы с дополнительной нагрузкой. Их еле хватало на ходьбу. Сердце тоже находилось на пределе возможностей. Как утверждал ее склонный к нравоучениям врач, сердцу Кэти все труднее было качать кровь по артериям, закупоренным салом.

Когда он осматривал Кэти, то видел складки жира, видел молочные железы, свисающие с плеч двумя тяжелыми мешками, видел живот, полностью скрывающий лобок, и кожу, изрытую кратерами целлюлита. На скелете Кэти покоилось столько плоти, что она могла бы год не есть и не пить, а жить только за счет собственных тканей. Врач говорил, что жир уже проникает в жизненно важные органы ее тела. Если она не начнет ограничивать себя за столом, провозглашал он при каждом осмотре Кэти, то ее дни сочтены.

«Инфаркт или инсульт, Кэтлин, – говорил он ей, качая головой. – Выбирайте, что вам больше по вкусу. Ваше состояние требует принятия немедленных мер, и ни одна из этих мер не будет связана с поглощением чего-либо способного превратиться в жировую ткань. Вы это понимаете?»

Разумеется, она это понимала. Ведь речь шла о ее теле, и если уж ты похож на бегемота в деловом костюме, то не заметить этого никак нельзя, достаточно одного взгляда в зеркало.

Однако этот врач был единственным человеком в жизни Кэти, кто отказывался видеть в ней безнадежную толстушку, какой она была с самого детства. А поскольку все, чье мнение для Кэти имело вес, принимали ее такой, какая она есть, то у нее не появилось достаточной мотивации для борьбы с девьюстами килограммами, которые ее врач считал лишними.

Если Кэти и посещали иногда сожаления о том, что она не принадлежит к миру гармонично развитых, красиво сложенных, физически активных людей, то сегодня она вновь удостоверилась в собственной значимости, как бывало каждый понедельник, среду и пятницу с семи до десяти часов вечера, во время занятий ее группы «Эрос в действии». На эти занятия приходили за утешением и помощью сексуально неудовлетворенные жители Большого Лондона. Под руководством Кэти Ваддингтон, которая посвятила свою жизнь изучению человеческой сексуальности, они исследовали либидо, анализировали эротоманию и фобии, примирались с фригидностью, нимфоманией, сатиризмом, трансвестизмом и фетишизмом, развивали сексуальные фантазии и стимулировали эротическое воображение.

«Вы спасли наш брак!» – восклицали клиенты со слезами на глазах. А еще Кэти спасала жизни, душевное здоровье и зачастую карьеры.

«Секс – это прибыль» – таков был девиз Кэти, и его верность подтверждали двадцать лет работы, шесть тысяч благодарных клиентов и очередь из более чем двухсот желающих присоединиться к ее группе.

Поэтому к машине Кэти шла в состоянии, являвшемся чем-то средним между самодовольством и экстазом. Пусть она сама не испытывает оргазма, но кто об этом догадается, если благодаря ей оргазмы вошли в жизнь многих других людей? В конце-то концов, именно этого они и хотят – регулярной сексуальной разрядки, не сопровождающейся чувством вины.

И кто научил их получать такую разрядку? Вот эта толстуха.

Кто научил их не стыдиться самых сокровенных своих желаний? Опять же эта толстуха.

Кто рассказал им обо всем, начиная от стимуляции эрогенных зон и заканчивая симуляцией страсти? Неизлечимо, абсурдно, безразмерно толстая девица из Кентербери, она, она и еще раз она.

А это гораздо важнее, чем подсчет калорий. Если Кэти Ваддингтон суждено умереть толстой, значит, так тому и быть.

Вечер был прохладным, а она любила холод. После душного лета в город наконец пришла осень. Ковыляя в темноте к машине, Кэти, как всегда, перебирала в памяти наиболее драматичные моменты прошедшего занятия.

Слезы. Да, слезы бывают всегда, как и заламывание рук, стыдливый румянец, заикание и обильное потоотделение. Но затем обычно наступает особый момент, момент прорыва, ради которого и стоило тратить долгие часы на выслушивание подробностей частной жизни, по сути одних и тех же у всех людей.

В этот вечер такой момент настал для Феликса и Долорес (фамилии указывать не будем), которые записались в группу «Эрос в действии» с конкретной целью «вернуть чудо» их брака, после того как каждый из них потратил по два года и по двадцать тысяч фунтов, исследуя индивидуальные сексуальные проблемы. Феликс давным-давно признал, что ищет удовлетворения за пределами семейного очага, а Долорес откровенно заявила, что вибратор и фотография Лоренса Оливье в роли Хитклифа¹ доставляют ей гораздо больше удовольствия, чем ласки мужа. Но сегодня размышления Феликса о том, почему вид обнаженного зада Долорес наводит его на мысли о престарелой матери, привели трех пожилых участниц группы в такую ярость, что они накинулись на него с оскорблениями, и тогда на защиту Феликса бросилась Долорес, по-видимому смыв неприязнь мужа к собственным ягодицам священной влагой слез. В результате муж и жена упали друг другу в объятия и слились в поцелуе. Занятие закончилось под их восторженный дуэт: «Вы спасли наш брак!»

Кэти прекрасно понимала, что не сделала для них ничего особенного, разве что предоставила возможность высказаться. Но обычному человеку большего и не требуется. Публично унизив себя или свою половину, он создает ситуацию, выйти из которой можно лишь двумя путями: или он спасает свою половину, или его половина спасает его.

Решение сексуальных проблем британского населения оказалось настоящей золотой жилой. То, что Кэти смогла это разглядеть, она относила на счет своей незаурядной проницательности.

Кэти широко зевнула и почувствовала, как заурчало в желудке. Сегодня она отлично поработала, а значит, в качестве награды заслужила хороший ужин, после которого так сладко будет поваляться перед телевизором. Кэти любила старые фильмы с их романтическими нюансами. Постепенный наплыв темноты в решающие моменты волновал ее кровь куда сильнее, чем наезд камеры на интимные участки тела или звук тяжелого дыхания. На сегодняшний

¹ Герой романа Эмили Бронте «Грозовой перевал», чью роль Лоренс Оливье исполнял в экранизации 1939 года.

вечер она припасла кассету с фильмом «Это случилось однажды ночью»: Кларк, Клодетт² и восхитительное напряжение между ними.

«Вот чего не хватает большинству пар, – в тысячный раз за этот месяц подумала Кэти. – Сексуального напряжения. Для воображения совсем уже не осталось места. Наш мир – это мир мужчин и женщин, которые все видели, все знают, все сфотографировали. Им больше нечего предвкушать, для них нет секретов».

Но лично ей жаловаться не на что. Такое положение дел в мире делает ее богатой, и пусть она похожа на бегемота, но никто и не вспомнит об этом, стоит им лишь увидеть дом, в котором она живет, одежду, которую она носит, драгоценности, которые она покупает, или автомобиль, который она водит.

К этому-то автомобилю Кэти и направлялась сейчас – сегодня утром она оставила его на частной стоянке в квартале от клиники, где проводила дни и вечера. Ох, а дышит-то она действительно как-то слишком уж тяжело, поняла вдруг Кэти и остановилась у поребрика отдохнуть, перед тем как переходить дорогу. Одной рукой она оперлась о фонарный столб, пережидая, пока сердце чуть замедлит свой стук. Вероятно, ей все-таки следует призадуматься о программе похудения, так настойчиво предлагаемой ее врачом. Но Кэти тут же отмахнулась от этой мысли. Зачем жить, если не наслаждаться жизнью?

Налетел ветерок и откинул с ее щек волосы, погладил затылок прохладой. Минутка отдыха – вот и все, что требуется. Надо только отдышаться, и она снова будет в полном порядке.

Кэти постояла, прислушиваясь к тишине улицы. Это был частью жилой, частью деловой район. Офисы в этот час уже закрылись, а окна квартир отгородились от ночи плотными занавесями.

Странно, но Кэти раньше никогда не замечала, как пустынно и безмолвны здешние улицы в одиннадцатом часу ночи. Она оглянулась и поняла, что в таком месте может случиться что угодно, как хорошее, так и плохое. И свидетелей случившемуся, скорее всего, не найдется.

Ее пробрала дрожь. Стоит поторопиться, решила Кэти.

Она шагнула на проезжую часть и двинулась на противоположную сторону.

Машину на другом конце улицы она не видела до тех пор, пока ей в лицо не ударил свет фар. Автомобиль сорвался с места и с ревом понесся прямо на Кэти.

Ослепленная, она заторопилась вперед, но автомобиль настиг ее. Она была слишком толстой, чтобы убежать.

² Кларк Гейбл и Клодетт Кольбер, исполнители главных ролей.

Гидеон

16 августа

Сразу хочу сказать, что считаю это упражнение пустой тратой времени, а, как я уже пытался объяснить вам вчера, именно сейчас я не могу позволить себе роскошь тратить время. Если бы вы хотели уверить меня в эффективности данной деятельности, то могли хотя бы разъяснить мне принцип, на котором вы строите вашу так называемую терапию. Неужели так важно, на какой бумаге я пишу, в какой тетради, какой ручкой или карандашом? И неужели так важно, где именно я занимаюсь этой бессмысленной писаниной? Разве вам не достаточно того, что я согласился на ваш эксперимент?

Ладно, оставим это. Не отвечайте. Я уже знаю, каким будет ваш ответ: «Откуда этот гнев, Гидеон? Что стоит за ним? Что вы вспоминаете?»

Ничего. Разве вы не видите? Я ничего не вспоминаю. Вот почему я обратился к вам.

«Ничего? – переспрашиваете вы. – Совсем ничего? Вы уверены, что это правда? Вы же не забыли свое имя. И, судя по всему, вы помните, как зовут вашего отца. И где вы живете. И чем вы зарабатываете на жизнь. И кто ваши близкие. Поэтому когда вы говорите “ничего”, на самом деле вы говорите, что не вспоминаете...»

Не вспоминаю ничего важного для меня. Хорошо. Я скажу это. Я не помню ничего, что считаю существенным. Вы это хотели услышать? И теперь, вероятно, мы с вами должны пуститься в долгие рассуждения о том, какую неприятную черту моего характера я обнажаю этим заявлением?

Однако вместо того, чтобы ответить на два моих последних вопроса, вы говорите, что для начала мы запишем все, что помним, – и важное, и неважное. Но когда вы говорите «мы», на самом деле вы имеете в виду меня: это я для начала запишу все, что помню. Потому что, как вы лаконично заметили своим объективным, бесстрастным голосом психиатра, «то, что мы помним, часто служит ключом к тому, что мы предпочли забыть».

«Предпочли». Полагаю, вы намеренно использовали это слово. Вы хотели добиться от меня определенной реакции. «Я покажу ей, – должен был подумать я, – покажу этой мегере, сколько я помню».

А кстати, сколько вам лет, доктор Роуз? Вы говорите, что тридцать, но я вам не верю. Скорее всего, вы не старше меня, а что еще хуже, выглядите вы как двенадцатилетняя девочка. И предполагается, что я должен испытывать к вам доверие. Вы действительно считаете, что являетесь полноценной заменой своему отцу? Если вы помните, я согласился встретиться с ним, а не с вами. Я не упомянул об этом во время нашей первой встречи? Думаю, нет. Я пожалел вас. Единственной причиной, по которой я решил остаться, когда вошел в кабинет и увидел вас вместо него, был ваш жалкий вид. Вы сидели за столом вся в черном, как будто черный цвет делает вас более компетентной в глазах людей, пришедших к вам в состоянии душевного кризиса.

«Душевного? – переспрашиваете вы, цепляясь за слово, как за поручень отходящего поезда. – Значит, вы решили принять заключение невролога? И оно вас удовлетворяет? Вы не потребуете дополнительных тестов, чтобы проверить его? Очень хорошо, Гидеон. Это большой шаг вперед. Это облегчит нашу совместную работу, потому что, как ни тяжело вам было признать это, вы убедились, что не физиология является причиной вашего состояния».

Я восхищаюсь вашим красноречием. У вас бархатный голос. Едва лишь вы открыли рот, мне следовало немедленно развернуться и отправиться напрямик домой. Но я не сделал этого, так как вы заставили меня остаться своей фразой: «Я в черном, потому что ношу траур по мужу». Вы хотели вызвать во мне сочувствие, верно? Установить с пациентом связь, как вас учили. Завоевать его доверие. Добиться, чтобы он стал внушаемым.

«Где доктор Роуз?» – спросил я, как только вошел в кабинет.

Вы сказали: «Я доктор Роуз. Доктор Элисон Роуз. Вероятно, вы ожидали увидеть моего отца? Восемь месяцев назад он перенес инсульт. Сейчас он уже идет на поправку, но ему потребуется еще некоторое время, так что пока он не принимает пациентов. Я заменяю его».

И вы начали рассказывать мне, что вам пришлось вернуться в Лондон, что вы скучаете по Бостону, но так даже лучше, потому что там воспоминания были слишком болезненны. Из-за него, пояснили вы, из-за вашего мужа. Вы зашли так далеко, что назвали мне его имя: Тим Фриман. И его болезнь: рак прямой кишки. И в каком возрасте он умер: тридцать семь лет. Вы рассказали мне, что сначала откладывали рождение ребенка, потому что учились в медицинском колледже, а когда наконец пришло время подумать о продолжении рода, муж боролся за выживание и вы тоже боролись за его выживание, и в той борьбе ребенку попросту не было места.

И я, доктор Роуз, пожалел вас. Поэтому я остался. В результате я сижу теперь у окна второго этажа, выходящего на Чалкот-сквер, и пишу эту несусветную чушь. Пишу, как вы велели, шариковой ручкой, чтобы нельзя было стереть написанное. И пользуюсь тетрадью с пружинным механизмом, позволяющим вставлять дополнительные листы, если позже понадобится добавить чудом припомнившуюся деталь или случай. В общем, занимаюсь совсем не тем, чем должен бы заниматься и чего ожидает от меня весь мир, а именно: стоя бок о бок с Рафаэлем Робсоном, уничтожать эту проклятую вездесущую пустоту между нотами.

«Рафаэль Робсон? – слышу я ваш вопрос. – Расскажите мне о Рафаэле Робсоне».

Сегодня утром я пил кофе с молоком и сейчас расплачиваюсь за это, доктор Роуз. Мой желудок в огне. Языки пламени лижут мои внутренности, опускаясь все ниже и ниже. Огонь поднимается кверху, но только не внутри моего тела. Там все происходит не так. Обычное вздутие желудка и кишечника, по утверждению моего врача. Метеоризм, произносит он нараспев, будто одаривает меня медицинским благословением. Шарлатан, знахарь, третьесортный костоправ. Мои внутренности пожирает нечто ужасное, а он называет это ветрами.

«Расскажите мне о Рафаэле Робсоне», – повторяете вы.

«Почему? – спрашиваю я. – Почему о Рафаэле?»

«Потому что это подходящее начало для рассказа. Ваш мозг подсказывает вам, с чего начать, Гидеон. В этом и заключается данный метод».

«Но началось все не с Рафаэля, – возражаю я. – Началось все двадцать пять лет назад в доме для бедных на Кенсингтон-сквер».

17 августа

Там я жил. Конечно, не в доме для бедных, а в доме родителей отца, на южной стороне площади. Собственно дома для бедных давно уже снесены, на их месте сейчас находятся два ресторана и бутик. Но я хорошо помню те дома. Отец использовал их, когда создавал легенду Гидеона.

Да, он таков, мой отец, всегда готов использовать то, что оказывается под рукой. В те дни он был полон идей, прямо-таки фонтанировал ими. Теперь я вижу, что большинство его идей были попытками уменьшить опасения моего дедушки, которому казалось, что неспособность его сына сделать карьеру в армии предопределила его неудачи и во всем остальном. И мне кажется, папа отлично сознавал, что думает о нем дед. Мой дедушка был не из тех, кто держит свое мнение при себе.

Со времен войны он был нездоров, мой дед. Наверное, потому-то мы и жили вместе с ним и бабушкой. Два года он провел в Бирме в плену у японцев и после этого так и не оправился. Подозреваю, что нахождение в плену пробудило в нем нечто такое, что при иных обстоятельствах могло никогда не проявиться. Так или иначе, мне говорили только, что у дедушки время от времени бывают «эпизоды» и в таких случаях ему лучше всего помогают «небольшие

каникулы за городом». Не помню никаких подробностей об этих «эпизодах», поскольку дед умер, когда мне было лет десять. Помню только, что начинались они с яростных и пугающих громких ударов, после чего бабушка начинала плакать, а дед кричал отцу: «Ты мне не сын!» – и затем его увозили.

«Увозили? – переспрашиваете вы. – Кто его увозил?»

Гоблины – так я их называл. Они выглядели как обычные люди с улицы, но их тела захватили похитители душ. В дом их всегда впускал отец. Бабушка, заливаясь слезами, встречала их на лестнице. И они всегда обходили ее молча, без единого слова, потому что все возможные слова уже были сказаны раньше, и не раз. Видите ли, они приходили за дедом на протяжении многих лет. Задолго до того, как я родился. Задолго до того, как я начал наблюдать за ними сквозь перила на лестничной площадке, скорчившийся и перепуганный лягушонок.

Да. Можете не спрашивать: я помню тот страх. И кое-что еще. Я помню, как кто-то отрывает меня от перил, кто-то отлепляет мои пальцы один за другим, чтобы увести меня прочь.

Вы хотите спросить, не Рафаэль ли Робсон этот «кто-то»? Не здесь ли на сцену вступает Рафаэль Робсон?

Нет. Это было за несколько лет до его появления в моей жизни. Рафаэль пришел после дома для бедных.

«Итак, мы снова вернулись к дому для бедных», – говорите вы.

Да. К дому для бедных и легенде Гидеона.

19 августа

Помню ли я дом для бедных? Или я просто придумал детали, чтобы заполнить ими контур, созданный моим отцом? Если бы я не помнил, как пахло внутри этого дома, я бы согласился, что всего лишь играю в игру, придуманную отцом специально для того, чтобы я мог при необходимости, вот как сейчас, вызвать этот дом в воображении. Но до сих пор запах хлорки мгновенно переносит меня в дом для бедных, и я знаю, что основа легенды правдива, как бы ни разрисовали ее за эти годы мой отец и агент по рекламе, а также журналисты, которые беседовали с ними обоими. Если честно, то сам я больше не отвечаю на вопросы о доме бедных. Я говорю: «Это дела давно минувших дней. Давайте обратимся к чему-нибудь более свежему».

Но журналистам всегда нужна зацепка для хорошей истории, и, ограниченные в своих изысканиях твердым предписанием отца – во время интервью со мной обсуждать только то, что связано с моей карьерой, – они с радостью хватаются за трогательную историю, выстроенную моим отцом из обычной прогулки по садику на Кенсингтон-сквер.

Мне три года, и я гуляю в сопровождении дедушки. У меня есть трехколесный велосипед, на котором я объезжаю садик по периметру, а дедушка сидит в стилизованной под древнегреческий портик беседке, что возведена у ограды из кованого железа. Дедушка принес с собой газету, но он не читает. Он прислушивается к музыке, доносящейся из одного из близлежащих зданий.

Он говорит мне негромко: «Это называется “концерт”, Гидеон. Это Концерт Паганини ре мажор. Слушай». Он подзывает меня к себе. Дед сидит на самом краю скамейки, я встаю рядом с ним. Он кладет руку мне на плечи, и мы слушаем вместе.

И в это мгновение я понимаю: вот то, что я хочу делать. В три года я каким-то образом сумел понять одну вещь, которая до сих пор является для меня основополагающей: слушать – значит быть, а играть – значит жить.

Я требую, чтобы мы немедленно покинули садик. Скрюченные артритом руки деда долго возятся с калиткой. Я кричу, чтобы мы поторопились, «пока не опоздали».

«Не опоздали куда?» – спрашивает внука любящий дед.

Я хватаю его за руку и тащу к дому для бедных, откуда раздается музыка. И когда мы входим внутрь, наши глаза слезятся от едкого запаха хлорки, которой только что вымыли покрытые линолеумом полы.

Источник концерта Паганини мы обнаруживаем на втором этаже. Одна из спален-гостиных является жилищем мисс Розмари Орт, когда-то давно игравшей в Лондонском филармоническом оркестре. Она стоит перед большим настенным зеркалом, под подбородком у нее зажата скрипка, в руке смычок. Но она не играет Паганини, а слушает пластинку – закрыв глаза, опустив руку со смычком. По ее щекам струятся слезы и падают на деревянную поверхность инструмента.

«Она сломает его, дедушка», – говорю я.

Мой голос заставляет мисс Орт очнуться. Она открывает глаза и недоуменно смотрит на согбенного старика и сопливого мальчонку, стоящих в дверях ее комнаты.

Однако времени на то, чтобы выразить свое недовольство или испуг, у нее нет. Я подхожу к ней и беру из ее рук инструмент. И начинаю играть.

Конечно, играю я плохо, ведь никто не поверит, что трехлетний ребенок, никогда ранее не бравший в руки скрипку, сможет сыграть Концерт Паганини ре мажор после первого и единственного прослушивания. Никакими врожденными талантами это не объяснишь. Но все равно по моей игре понятно, что все необходимое у меня есть – слух, чувство равновесия, страсть. Мисс Орт тоже видит это и настоятельно просит, чтобы ей позволили обучать гениального ребенка игре на скрипке.

Так она становится моей первой учительницей музыки. И учит меня полтора года, после чего принимается решение, что для моего таланта требуются менее традиционные методы преподавания.

Вот, доктор Роуз, это и есть легенда Гидеона. Достаточно ли хорошо вы знаете скрипку, чтобы понять, где в этой легенде изъян?

Легенда выжила и получила широкую известность благодаря тому, что мы называли ее легендой и смеялись, когда рассказывали ее. Мы говорили: «Вздор от первого и до последнего слова», но при этом многозначительно улыбались. Мисс Орт давно умерла, так что она нашу историю не опровергнет. После мисс Орт был Рафаэль Робсон, однако он мало что может сделать для установления истины.

Но вам я расскажу все как было, доктор Роуз. Какова бы ни была моя реакция на предложенное вами упражнение, я заинтересован в том, чтобы вы знали правду.

В тот знаменательный день я действительно гуляю в садике на Кенсингтон-сквер, но не с дедом, а с летней группой, организованной соседним женским монастырем. Группа состоит из малышей, проживающих на Кенсингтон-сквер, а руководят ею три студента, обитающие в хостеле³ при монастыре. Один из этих студентов забирает нас по утрам из дома, и все мы, держась за руки, идем в центральный садик, где согласно ожиданиям наших родителей и за небольшую плату нас должны обучать навыкам общения посредством совместных игр. Предполагается, что благодаря этому мы получим преимущество, когда пойдем в школу. Таков план, во всяком случае.

Студенты занимают нас играми и упражнениями. И когда мы, малыши, принимаемся выполнять задание, которое они выбрали для нас на сегодня, сами они удаляются в то самое подобие древнегреческого портика, чтобы поболтать и покурить.

В тот день нам велено тренироваться ездить на велосипеде, поэтому все мы садимся на наши трехколесные машинки и едем по периметру сада. И пока я упорно кручу педали в самом конце маленькой группы, мальчик примерно моего возраста вынимает из штанов свой петушок

³ Общежитие, гостиница (англ.).

и мочится посреди газона, на виду у всех. Это вызывает кризис; правонарушителя ведут домой, не переставая строго отчитывать.

Вот тогда-то и начинает звучать музыка, и две студентки, оставшиеся присматривать за группой, не имеют ни малейшего понятия о том, что за произведение исполняется. Но я хочу приблизиться к источнику звука и настаиваю на своем желании с такой силой, что одна из студенток – итальянка, судя по тому, что ее английский не очень хорош, зато сердце у нее большое, – обещает помочь мне найти, откуда доносится музыка. И мы находим это место – дом для бедных, где проживает мисс Орт.

Она не играет, но и не притворяется, что играет, и на ее лице нет слез, когда итальянская студентка и я входим в ее комнату. Мисс Орт дает урок музыки. Каждый такой урок она заканчивает, прослушивая вместе с учеником какое-либо музыкальное произведение на стереопроекторе. В этот день они слушают Брамса.

«Тебе нравится эта музыка?» – спрашивает меня мисс Орт.

Я не отвечаю, потому что не знаю, нравится ли мне музыка, и не знаю, что я испытываю, когда слышу ее. Все, что я знаю, – это то, что я хочу научиться производить подобные звуки. Но я робею и ничего этого не говорю, а только прячусь за ноги итальянской девушки, которая ловит меня за руку, на ломаном английском извиняется перед мисс Орт и уводит меня обратно в садик.

Такова реальность.

Естественно, вам хочется знать, каким образом столь неудачное знакомство с музыкой трансформировалось в легенду о Гидеоне. Другими словами, каким образом брошенное за ненадобностью оружие, оставленное, если можно так выразиться, собирать вековые отложения известняка в пещере, превратилось в Эскалибур, пресловутый меч в камне? Я могу только догадываться, так как легенда – это творение моего отца, а не мое.

Вечером студенты разводили детей из игровой летней группы по домам, при этом родители каждого ребенка получали подробный отчет о его дневных свершениях и прогрессе. За что же еще родители согласны платить, как не за получение ежедневных подтверждений, что их ребенок неуклонно движется вперед, к достижению социальной зрелости?

Бог знает какой отчет выслушали в тот день родители мальчика, столь откровенно выставившего на всеобщее обозрение самую интимную часть тела. Мои же родственники услышали рассказ итальянской студентки о моей встрече с Розмари Орт.

Смею предположить, что произошло все в гостиной, где бабушка в это время суток обычно восседала во главе стола, подавая деду послеполуденный чай. На моей памяти она ни разу не пропустила эту церемонию, старательно окружая дедушку аурой нормальной жизни в качестве защиты от возможного вторжения «эпизода». Вероятно, там же присутствовал и мой отец, и, вероятно, к нам присоединился жилец Джеймс, с чьей помощью мы сводили концы с концами, сдавая ему одну из свободных спален на верхнем этаже дома.

Итальянская студентка – позвольте мне заметить, что с тем же успехом она могла быть гречанкой, испанкой или португалкой – наверняка тоже была приглашена выпить за семейным столом чашку чая, получив таким образом возможность рассказать о нашем знакомстве с Розмари Орт.

Она говорит:

«Малыш, он хочет найти музыку, которую мы слушаем, поэтому мы ходим к ней...»

«По-моему, она имеет в виду “слышим” и “идем”», – вставляет наш жилец. Его зовут Джеймс, как я уже упоминал, и однажды я слышал, как дедушка жаловался на то, что английский Джеймса «слишком правильный» и поэтому, скорее всего, он шпион. Но мне все равно нравится слушать, как говорит Джеймс. Слова из его рта вылетают как апельсины – круглые, плотные и сочные. Сам он на апельсин совсем не похож, только щеки у него красные и краснеют

еще жарче, когда Джеймс оказывается в центре внимания. Он говорит итальянке-испанке-гречанке-португалке: «Прошу вас, продолжайте. Не обращайтесь на меня внимания».

И она улыбается, потому что жилец ей нравится. Думаю, она хотела бы, чтобы он помог ей выучить английский. Она хотела бы подружиться с ним.

У меня самого друзей нет, несмотря на занятия в игровой группе, но я не замечаю их отсутствия, потому что у меня есть семья и я купаюсь в любви родных. В отличие от большинства детей я не веду отдельного от взрослых существования в ограниченном детском мире: еда в одиночестве, игры с няней, общение с няней, восприятие жизни через няню и периодические выходы в лоно семьи. Именно так дети проводят первые годы своей жизни до того момента, когда их можно будет отправить в школу. Я же принадлежу миру взрослых, с которыми живу. Поэтому я вижу и слышу многое из того, что происходит в нашем доме, и если помню я не все события, зато помню, какое впечатление они на меня произвели.

И вот как мне вспоминается тот день: посреди рассказа о скрипичной музыке в доме для бедных дедушка пускается в разглагольствования о Паганини. Бабушка на протяжении многих лет использовала музыку, чтобы успокоить деда в те моменты, когда он уже балансирует на грани «эпизода», но еще есть надежда, что «эпизод» можно предотвратить. И дедушка говорит о трелях и технике владения смычком, о вибрато и глиссандо – с видом весьма авторитетным, но, как я теперь понимаю, толком в музыке не разбираясь. Он крупный мужчина, громкоголосый и многоречивый, человек-оркестр. Его никто не перебивает, и ему не возражают, когда он, обращаясь ко всем, говорит: «Мальчик будет играть» – с категоричностью Господа Бога, провозгласившего: «Да будет свет».

Отец слышит эти слова, делает из них выводы, которыми ни с кем не делится, и принимает соответствующие меры.

В результате я начинаю брать у мисс Розмари Орт свои первые уроки игры на скрипке. И из тех уроков и того отчета о занятиях в игровой группе отец лепит легенду о Гидеоне, которую я тащу за собой по жизни, как каторжник таскает повсюду цепь с ядром.

Но вы, наверное, хотите знать, почему он включил в легенду моего дедушку? Почему он не оставил лишь главных действующих лиц, зачем насочинял разные подробности? Разве он не боялся, что кто-нибудь выйдет вперед, опровергнет нашу историю и расскажет, как все было на самом деле?

Могу сказать вам только одно, доктор Роуз: вам придется спросить об этом у моего отца.

21 августа

Я хорошо помню те первые уроки у мисс Розмари Орт: мое нетерпение, как коса на камень, натыкалось на ее приверженность деталям. «Почувствуй свое тело, Гидеон, дорогой, почувствуй свое тело», – говорит она. Я стою, зажав между подбородком и плечом скрипичку в одну шестнадцатую – самый маленький из существующих на тот момент инструментов, – и подвергаюсь бесконечным поправкам со стороны мисс Орт. Она изгибает мои пальцы над грифом; она придает жесткость моему левому запястью; она держит меня за плечо, чтобы я правильно вел смычок; она выпрямляет мою спину и с помощью длинной указки постукивает меня по ногам, меняя их постановку. И все время, пока я играю – когда мне наконец позволено играть, – ее голос звенит над гаммами и арпеджио, с которых я начинаю: «Корпус выпрями, опусти плечи, Гидеон, дорогой», «Большой палец под эту часть смычка, а не под эту, пожалуйста», «Смычок ведет вся рука», «Каждый взмах обособлен», «Нет-нет! Пальчики ставим вот сюда, дорогой». Она постоянно заставляет меня тянуть один звук, готовясь к извлечению следующего. Снова и снова мы повторяем это упражнение, пока ее не удовлетворяют все части, из которых состоит моя правая рука, – запястье, локоть, предплечье, плечо. Все они должны функционировать как единое целое со смычком, как колесо на оси.

Я узнаю, что пальцы должны двигаться независимо друг от друга. Я учусь находить такую точку на грифе, которая впоследствии позволит моим пальцам передвигаться по нему с одной позиции в другую, как по воздуху. Я учусь слышать свой инструмент. Я учусь водить смычком вверх и вниз, узнаю, что такое *staccato* и *legato*, *sul tasto* и *sul ponticello*⁴.

В двух словах: я изучаю метод, теорию и принципы, но меня не учат тому, что я жажду узнать, – как вскрыть душу, чтобы наружу вырвался звук.

Я выдерживаю мисс Розмари Опп в течение восемнадцати месяцев, но потом устаю от бездушных экзерсисов, на которые уходит основное время занятий. В тот далекий день на Кенсингтон-сквер из окна мисс Опп доносились не бездушные экзерсисы, и я сопротивляюсь, когда меня заставляют заниматься ими. Я слышу, как мисс Опп говорит моему отцу, оправдывая мое поведение: «Он ведь еще так юн. В столь нежном возрасте от ребенка невозможно требовать длительной концентрации на чем-то одном». Но мой отец, вынужденный найти вторую работу, чтобы содержать семью в доме на Кенсингтон-сквер, не присутствует на моих занятиях трижды в неделю и поэтому не в силах постичь, как эти занятия обескровливают музыку, которую я люблю.

А вот дедушка присутствует на всех этих занятиях, поскольку за те восемнадцать месяцев, что я посещал уроки мисс Опп, он ни разу не испытал даже самого краткого «эпизода». Поэтому именно он приводит меня на уроки, садится в углу комнаты и внимательно слушает, и его зоркий взгляд впитывает форму и суть моих занятий, а его иссохшая душа томится по Паганини. В результате он приходит к заключению, что в руках мисс Опп, действующей, несомненно, из лучших побуждений, необыкновенный талант его внука не получает должного развития, а, напротив, подавляется.

«Он хочет творить музыку, черт побери! – ревет дедушка, когда они с отцом обсуждают сложившуюся ситуацию. – Мальчик – настоящий артист, Дик, и если ты не видишь того, что лежит у тебя прямо перед носом, то ты безмозглый идиот и мне не сын. Стал бы ты кормить чистокровного жеребца из свиного корыта? То-то и оно, Ричард».

Вероятно, отец соглашается на дедушкин план из страха – страха, что в противном случае разразится очередной «эпизод». План же этот состоит в следующем: мы живем на Кенсингтон-сквер, откуда рукой подать до Королевского музыкального колледжа, а где, как не в этом колледже, можно найти подходящего учителя музыки для дедушкиного гениального внука Гидеона?

Вот таким образом дедушка становится моим спасителем и покровителем моей невысказанной мечты. Вот так в моей жизни появляется Рафаэль Робсон.

22 августа

Мне четыре с половиной года, и Рафаэль (хотя теперь-то я знаю, что в то время ему было не более тридцати двух – тридцати трех лет) кажется мне далекой, непостижимой личностью, по отношению к которой я с первого же дня проявляю полное послушание.

Внешне он не очень симпатичен. Он потлив. Сквозь жидкие пушистые волосики просвечивает череп. Кожа у него белая, как мясо речной рыбы, а от пребывания на солнце он весь покрывается красными пятнами. Но когда Рафаэль берет скрипку и взмахивает смычком – а именно с этого начинается наше знакомство, – его внешность отходит на задний план и я превращаюсь в глину в его руках. Он выбирает Концерт Мендельсона ми минор и целиком отдается музыке.

⁴ Музыкальные термины: *staccato* – стаккато, отрывисто; *legato* – легато, связно; *sul tasto* – у грифа (прием игры на струнных смычковых инструментах); *sul ponticello* – у подставки (то же).

Он не играет ноты – он существует в звуках. Аллегро, которое он воспроизводит на своем инструменте, околдовывает меня. Рафаэль мгновенно меняется в моих глазах. Он больше не потный бледный мямля, а Мерлин, и я хочу научиться овладеть его волшебством.

Рафаэль не преподает метод, как я узнаю из его собеседования с дедушкой. «Это задача самого скрипача – развить свой собственный метод», – говорит он. Вместо этого он придумывает для меня упражнения. Он ведет, я подхватываю. «Используй все возможности скрипки, – наставляет он меня, продолжая играть сам и наблюдая за моими попытками. – Обогасти это вибрато. Не надо бояться портаменто, Гидеон. Смычок скользит. Звуки должны плыть один за другим. Смычок скользит».

Именно тогда начинается моя настоящая жизнь скрипача, доктор Роуз, потому что уроки мисс Орт были лишь прелюдией. На первых порах у меня три урока в неделю, потом четыре, потом пять. Каждый урок длится три часа. Сначала я хожу в кабинет Рафаэля в Королевском музыкальном колледже – вместе с дедушкой мы ездим туда на автобусе от Кенсингтон-Хай-стрит. Но долгие часы ожидания утомительны для дедушки, и все домашние опасаются, что рано или поздно это спровоцирует «эпизод», а бабушки рядом не будет, и кто тогда справится с дедушкой? Поэтому взрослые организуют все так, чтобы Рафаэль Робсон сам стал к нам ездить.

Расходы, конечно, огромны. Скрипач уровня Рафаэля Робсона не будет заниматься даже с очень талантливым ребенком, если не компенсировать его расходы на поездки, отказ от занятий с другими учениками ради меня и собственно его время. В конце концов, человек не может жить только любовью к музыке. И хотя у Рафаэля нет семьи, которую он должен содержать, самому ему все-таки нужно что-то есть и платить за аренду жилья. То есть необходимы деньги для того, чтобы Рафаэль Робсон ни в чем не нуждался и не испытывал потребности сократить время наших с ним занятий.

Папа и так уже работает на двух работах. Дедушка получает небольшую пенсию от правительства, благодарного ему за то, что во время войны он потерял психическое здоровье. Именно ради поддержания его здоровья родители отца не переехали после войны из дорогого дома на Кенсингтон-сквер в более дешевое, но и более беспокойное в смысле окружения жилище. Они сэкономили на чем только возможно, они сдавали свободные комнаты, они делили с отцом расходы по содержанию дома. Но они оказались совсем не готовы к тому, что в их семье появится гениальный ребенок – а дед утверждал, что я гений, – и к огромным тратам, необходимым для того, чтобы вырастить такого гения и полностью раскрыть его потенциал.

Причем я никак не облегчаю их задачу. Когда Рафаэль предлагает провести дополнительное занятие, когда он имеет возможность потратить на меня еще несколько часов, я со страстью соглашаюсь. И они видят, как преуспеваю я под руководством Рафаэля: он входит в дом, а я уже готов, уже стою со скрипкой в одной руке и смычком в другой.

Ради моих уроков музыки необходимы дополнительные средства. Раздобыть их берется моя мать.

Глава 1

На ночные улицы Теда Уайли вывели мысли о том прикосновении – прикосновении, которое должно было предназначаться ему, но досталось другому. Он видел это из своего окна, не желая подглядывать и тем не менее подглядывая. Время: второй час ночи. Место: город Хенли-он-Темз, Фрайди-стрит, в шестидесяти ярдах от реки, перед самым ее домом. Они вышли из дома вдвоем, и обоим пришлось пригнуть головы, чтобы не стукнуться о дверной косяк, установленный в те века, когда женщины и мужчины были ниже и когда уклад их жизни был более определенным.

Теду Уайли нравилась эта определенность ролей. А ей – нет. И если раньше он не до конца понимал, что будет не просто дать Юджинии статус его женщины и поместить ее в соответствующий раздел его жизни, то при виде ее и того долговязого незнакомца – на тротуаре, в объятиях друг друга – Теду это стало ясно как день.

«Возмутительно, – думал он. – Она хочет, чтобы я это видел. Она хочет, чтобы я видел, как она обнимает его и как повторяет ладонью контур его щеки, когда он отступает назад. Господи, покарай эту женщину. Она хочет, чтобы я это видел».

Разумеется, Тед преувеличивал. Если бы это прикосновение имело место в более ранний час, он сумел бы убедить себя не поддаваться паническим настроениям. Он бы подумал: «Нет ничего особенного в том, что она прикасается к незнакомцу на улице, на людях, в прямоугольнике света, падающем из окна ее гостиной, в лучах осеннего солнца, перед Богом, перед всеми и передо мной...» Но вместо этих мыслей в голове Теда засело самое логичное объяснение нежного расставания мужчины и женщины в час ночи на пороге ее дома, и Тед не смог избавиться от него в последующие семь дней, в течение которых он – взвинченный, толкующий то так, то эдак каждое ее слово и взгляд – ждал хоть какого-то объяснения со стороны Юджинии: «Тед, не помню, говорила ли я тебе, что мой брат (или двоюродный брат, или отец, или дядя, или архитектор-гомосексуалист, который будет пристраивать дополнительную комнату в доме) заходил ко мне недавно поболтать? И мы так засиделись, что я думала, он никогда уже не уйдет. Кстати, ты мог видеть его у моего крыльца: ты ведь последнее время завел привычку подсматривать за мной из-за занавесок, а?» Вот только Тед Уайли никогда не слышал о том, что у Юджинии есть брат, или кузен, или отец, или дядя, да и про архитектора-гомосексуалиста она никогда не упоминала.

Зато она намекнула Теду, что хочет рассказать ему что-то важное (у Теда при этих словах свело желудок). Когда он спросил, о чем пойдет речь, надеясь получить от Юджинии прямой ответ, даже если в этом ответе будет содержаться ужасный приговор, она сказала лишь: «Потерпи. Я еще не готова сознаться в своих грехах». И протянула ладонь, чтобы прикоснуться к его щеке. Да. Да. То самое прикосновение. Абсолютно то же самое.

И поэтому в девять часов дождливым ноябрьским вечером Тед Уайли надел на своего стареющего золотистого ретривера ошейник и объявил, что им предстоит прогулка. Их маршрут, поведал он собаке, чей артрит и нелюбовь к дождю делали ее не самым сговорчивым компаньоном, начнется на Фрайди-стрит, а затем выведет их на Альберт-роуд, где по чистой случайности они столкнутся с Юджинией, выходящей из клуба «Шестидесят с плюсом» – там сегодня вечером комитет по подготовке к предстоящим рождественским праздникам в очередной раз попытается прийти к компромиссу относительно меню праздничного ужина. Да, это будет чистая случайность и удобный случай поболтать. Всем собакам необходимо гулять перед сном. В действиях добросовестного хозяина никто не сможет заподозрить скрытого умысла.

Собака, которую покойная жена Теда нарекла нелепым, но ласковым именем Драгоценная Малютка и которую сам Тед звал не иначе как Дэ Эм, остановилась в дверях и поморгала, глядя на улицу, где приступы осеннего дождя предвещали долгую и пронизывающую до костей

ночь. Со всем возможным достоинством собака начала опускаться на пол и достигла бы желаемой позы, если бы Тед не вытолкнул ее на крыльцо с отчаянием человека, который не может допустить, чтобы его решения кем-либо оспаривались.

– Живо, Дэ Эм! – приказал он и дернул за поводок, затягивая ошейник.

Ретривер узнал и тон, и жест. С бронхиальным вздохом, выпустившим в мокрую ночь облако собачьего дыхания, он уныло поплелся под дождь.

Погода отвратительная, но тут уж ничем не поможешь. Кроме того, старушке Дэ Эм необходимо гулять. За пять лет, прошедшие после смерти ее хозяйки, она совсем разленилась, и Тед мало что сделал, чтобы держать ее в форме. Что ж, отныне все изменится. Он обещал Конни, что будет заботиться о собаке, и намерен выполнить свое обещание, установив с сегодняшнего вечера новый режим. «Никаких трехминутных выходов в задний садик перед сном, мой друг, – мысленно уведомил он Дэ Эм. – Отныне ты будешь гулять по-настоящему».

Он дважды проверил, надежно ли закрыта дверь книжного магазина, и поднял повыше воротник старой прорезиненной куртки, прячась от сырости и холода. Надо было взять зонтик, понял он, когда вышел из дома и первые капли дождя ударили его по затылку. Кепка с длинным козырьком не давала необходимой защиты, хотя и была ему весьма и весьма к лицу. Но какого черта он вообще думает о том, что ему к лицу, рассердился на себя Тед. Проклятье, да если кто-нибудь проберется сейчас к нему в голову, то найдет там только паутину и труху.

Тед откашлялся, сплюнул на тротуар и принялся подбадривать себя, шагая за собакой мимо здания резерва морской пехоты, где сломанный водосток на крыше взрывался серебряным фонтаном дождевой воды. Он завидный жених, накачивал себя Тед. Майор в отставке, вдовец после сорока двух лет поистине благословенного брака, Тед Уайли станет завидной партией для любой женщины, и не стоит забывать об этом. Разве достойные мужчины не такая же редкость в Хенли-он-Темз, как бриллианты чистой воды? Да, такая же редкость. А разве достойные мужчины без мохнатых бровей и без неприглядных волос в носу и в ушах не являются еще большей редкостью? Да и еще раз да. А опрятные, совершенно здоровые, владеющие всеми своими органами, ловкие на кухне и способные на длительные отношения мужчины – разве они не стали такой диковинкой в обществе, что стоит им появиться на званом обеде или ужине, как их со всех сторон начинают угощать и потчевать? Это чертовски верно. И он – один из таких мужчин. И все это знают.

Включая Юджинию, напомнил себе Тед.

Разве не говорила она ему: «Ты славный человек, Тед Уайли»? Да. Говорила, и не раз.

Разве в последние три года не принимала она его общество с готовностью и удовольствием? Да, принимала.

Разве она не улыбалась, и не вспыхивала румянцем, и не отворачивалась в сторону, когда они навещали его мать в доме для престарелых «Тихие сосны» и старушка объявила в свойственной ей раздражающей повелительной манере: «Вы двое должны пожениться, пока я жива»? Да, да и да. Она улыбалась, вспыхивала румянцем и стыдливо отворачивалась в сторону.

В свете всего вышесказанного что может значить то прикосновение к незнакомцу? И почему Теду никак не удастся выкинуть это прикосновение из головы, словно оно было неким знаменем, а не просто неприятным воспоминанием, какового у Теда и вовсе не было бы, если бы для него не стало так важно все видеть, все слышать, все продумывать, все знать, если бы он не стремился плотно задраить каждый люк в своей жизни, как будто это не жизнь, а парусник, который может потерять свой груз, если не закрепить его как следует?

Ответом на все это была Юджиния – Юджиния, чье хрупкое, почти прозрачное тело взывало о заботе, чьи аккуратные волосы, пусть и густо посеребренные сединой, просили, чтобы их высвободили из шпилек и гребешков, чьи задумчивые глаза были то синими, то зелеными, то серыми, то снова синими, но всегда настороже и чья скромная, однако соблазнительная жен-

ственность пробуждала в чреслах Теда ощущения, требовавшие от него действий, на которые он не был способен после смерти Конни. Ответом была Юджиния.

И он был самым подходящим мужчиной для Юджинии, мужчиной, который защитил бы ее, вернул бы к жизни. За три года они ни разу не говорили о тех пределах, которыми Юджиния на протяжении долгих лет ограничивала свое общение с мужчинами. Однако это ограничение открыто заявило о себе при первой же просьбе Теда составить ему компанию и выпить по стаканчику шерри в соседнем баре.

«Господи, да она сто лет не ходила на свидания! – думал Тед, удивляясь тому, в какое волнение привело ее это незамысловатое приглашение. – Интересно, почему?»

Теперь, кажется, он понял. У нее были секреты, у его Юджинии. «Я хочу рассказать тебе что-то важное, Тед». Сознаться в грехах, сказала она. В грехах.

Ну что ж, если ей есть что сказать, незачем откладывать это на потом.

В конце Фрайди-стрит Тед остановился, ожидая зеленого сигнала светофора. У его ног дрожала Дэ Эм. По Дьюк-стрит шла транзитная трасса на Ридинг и Марлоу, поэтому в любое время суток улицу заполнял грохочущий поток самых разнообразных машин. Даже ненастная погода не могла уменьшить объемы передвижения в обществе, которое все больше зависело от машин и все более безрассудно стремилось к тому образу жизни, когда работа находится в городе, а дом – в пригороде. И поэтому даже в девять часов вечера по мокрой улице летели легковые автомобили и грузовики, разбрасывая по оконным стеклам и лужам желтые шары отраженных фар.

Слишком много людей едут в слишком много разных мест, угрюмо думал Тед. Слишком много людей, не имеющих ни малейшего понятия, зачем они несутся по жизни сломя голову.

Светофор мигнул зеленым, Тед перешел дорогу и быстрым шагом свернул на Грейс-роуд. За ним вперевалку плелась Дэ Эм. Хотя прошли они не больше четверти мили, старая псина свистела от натуги, и поэтому Тед остановился под навесом антикварного магазина – пусть старушка передохнет. Их конечная цель уже в поле зрения, подбодрил он ее. До Альберт-роуд остается всего несколько ярдов, уж на это ее должно хватить.

Там, на Альберт-роуд, располагается клуб «Шестьдесят с плюсом» с парковкой вместо двора. Этот клуб обслуживает социальные потребности растущего сообщества пенсионеров Хенли.

Юджиния занимает в клубе пост директора. Там-то Тед и встретил ее, после того как переехал в этот маленький городок на берегу Темзы, не в силах больше предаваться в Мейдстоуне горьким воспоминаниям о мучительной кончине жены.

– Майор Уайли, превосходно. Значит, вы поселились на Фрайди-стрит, – сказала Юджиния, изучая его анкету. – Мы с вами соседи. Я живу в номере шестьдесят пять. Такой розовый домик под названием «Кукольный коттедж». Я здесь уже давно. А вы живете...

– В книжном магазине, – подхватил он. – Через дорогу от вас. В квартире на верхнем этаже. Но я и понятия не имел... То есть я вас не видел.

– Я всегда ухожу рано и возвращаюсь поздно. Но ваш магазин, разумеется, знаю. Была там много раз. По крайней мере, когда там работала ваша мать, до того как у нее случился удар. Она отлично себя чувствует. С каждым днем ей все лучше.

Тед сначала подумал, что Юджиния задает ему вопрос, но потом понял, что это не так: она знала, о чем говорит. И он вспомнил, где видел ее раньше – в «Тихих соснах», в доме для престарелых, когда посещал мать, что делал трижды в неделю. А Юджиния работала там по утрам на добровольных началах, и пациенты называли ее не иначе как «наш ангел». По крайней мере, так сказала Теду мать, завидев Юджинию, проходившую мимо со стопкой больших пеленок. «Знаешь, Тед, ее родственников в приюте нет, и ей не платят ни пенни за то, что она работает здесь».

Тогда Тед задал себе вопрос: зачем же она это делает? Зачем?

Секреты, думал он теперь. Тихие омуты и секреты.

Он посмотрел на собаку, которая привалилась к его ноге, прячась от дождя, решительно настроенная подремать, раз уж у нее появился такой шанс. Тед сказал:

– Поднимайся, Дэ Эм. Уже недалеко.

Присмотревшись сквозь голые ветки деревьев, он понял, что времени тоже осталось немного.

Из своего укрытия он увидел, как из клуба «Шестьдесят с плюсом» высыпали члены комитета по подготовке к рождественским праздникам. Раскрывая зонты и ступая через лужи, словно начинающие канатоходцы, они обменивались прощальными восклицаниями и пожеланиями доброй ночи. Судя по добродушным интонациям, они сумели-таки прийти к согласию относительно съестных припасов. Юджиния будет довольна. А значит, будет склонна поболтать с ним.

Невзирая на сопротивление золотистого ретривера, Тед пересек улицу, горя нетерпением перехватить Юджинию. К парапету между тротуаром и парковкой он подошел как раз тогда, когда отъехал последний член комитета. Свет в окнах клуба погас, и на крыльцо опустилась тень. Через минуту появилась наконец и Юджиния, шагнувшая в сырой полумрак, отделявший здание от освещенной парковки. Ее внимание было поглощено несговорчивым черным зонтиком. Тед открыл рот, чтобы окликнуть ее, пропеть сердечное «Добрый вечер» и галантно предложить проводить ее до коттеджа. «В такое время суток негоже леди одной ходить по улицам, милая моя. Не желаете ли опереться на руку вашего горячего поклонника? Боюсь, я не один – с собакой. Мы с Дэ Эм пошли на разведку».

Он собирался сказать все это, слово в слово, и уже втянул воздух, готовясь начать речь, но вдруг услышал, как мужской голос позвал Юджинию по имени. Она резко повернулась влево, и Тед посмотрел в ту же сторону, где из большой темной машины выросла фигура. Освещенная со спины фонарем, она была не более чем тенью, силуэтом. Но форма головы и этот нос-клюв сказали Теду достаточно: в город вернулся тот самый ночной гость Юджинии.

Незнакомец подошел к ней. Она оставалась на месте. При свете фонаря Тед разглядел, что мужчина пожилой, не моложе его самого, с пышной шевелюрой седых волос, зачесанных назад и касающихся сзади поднятого воротника пальто от «Берберри».

Они начали говорить. Мужчина взял у Юджинии зонтик, поднял его над их головами и стал настойчиво убеждать ее в чем-то. Он был выше Юджинии на добрых восемь дюймов, поэтому ему приходилось наклоняться. Она задирала голову, чтобы слышать его слова. Тед тоже напряг слух, но расслышал только отдельные фразы: «Ты должна», «На коленях, Юджиния!» – и наконец громкое и страстное: «Ну как ты не видишь!» – после чего Юджиния перебила его потоком тихих слов и положила ладонь ему на рукав. «И это говоришь мне ты?» – таков был последний вопрос мужчины, донесшийся до Теда. Затем незнакомец выдернул руку из пальцев Юджинии, сунул ей обратно черный зонт и зашагал к своей машине. Вздых облегчения, вырвавшийся из губ Теда, облачком повис в промозглом ночном воздухе.

Но он поторопился. Юджиния последовала за мужчиной и догнала его, когда он распахивал дверцу машины. Отделенная от него дверцей, она продолжала говорить. Ее собеседник, однако, отвернулся от нее с криком: «Нет, нет!» В этот момент она потянулась к нему и попыталась притронуться ладонью к его щеке. Она словно пыталась притянуть его к себе, несмотря на то что дверь автомобиля по-прежнему служила для него щитом.

И в качестве щита дверца была весьма эффективна, потому что мужчина ускользнул от ласкового жеста, с которым тянулась к нему Юджиния. Он нырнул на водительское сиденье, захлопнул дверь и завел машину. Эхо от рева грубо разбуженного двигателя облетело здания, стоящие по трем сторонам асфальтовой площадки.

Юджиния отступила. Машина дала задний ход. Двигатель взвыл, как разрываемое на части животное. Бешено завертелись на мокрой дороге колеса. С отчаянным визгом резина встретила с асфальтом.

Еще один яростный рык – и автомобиль помчался к выезду со стоянки. Не далее чем в шести ярдах от того места, где под молодым амбровым деревом притаился Тед, «ауди» – с такого расстояния он даже в темноте отлично разглядел характерные четыре кольца на капоте – вывернула на улицу. Водитель не притормозил ни на секунду, чтобы убедиться, что никому не помешает. Тед успел только заметить искаженный эмоциями профиль, а «ауди» уже полетела налево, в направлении Дьюк-стрит, и на ближайшем перекрестке свернула вправо, в сторону Ридинга. Тед прищурился, пытаясь различить цифры и буквы на номерном знаке и одновременно решая, открывать свое присутствие Юджинии или воздержаться после разыгравшейся только что сцены.

Однако времени выбрать один из двух вариантов – бесславно возвращаться домой или притвориться, что только что подошел к парковке, – у него почти не оставалось. Юджиния окажется рядом с ним через несколько секунд.

Тед посмотрел на собаку, которая не преминула воспользоваться шансом отдохнуть от длительной прогулки и улеглась под деревом, свернувшись калачиком и с мученическим видом настроившись спать под дождем. Реально ли надеяться, что он сумеет уговорить Дэ Эм вскочить и быстрой трусцой удалиться из поля зрения Юджинии, которая вот-вот подойдет сюда? Не очень. Остается одно: убедить Юджинию, что они с собакой только что здесь появились.

Он расправил плечи и дернул поводок, готовясь обогнуть парапет и войти на парковку. Но уже на ходу заметил, что Юджиния идет вовсе не в его сторону, а шагает к пешеходной дорожке между зданиями, выходящей на Маркет-плейс. Куда это, черт побери, она направилась?

Тед заспешил вслед за ней быстрым шагом, и это очень не понравилось Дэ Эм, но она вынуждена была подчиниться из страха быть задушенной поводком. Юджиния маячила перед ними темной тенью: черный плащ, черные сапоги и черный зонтик делали ее не самым удобным объектом для преследования поздним дождливым вечером.

Она свернула на Маркет-плейс, и Тед во второй раз подивился, куда это она держит путь. В такой час все магазины закрыты, а привычки ходить одной по барам за Юджинией не наблюдалось.

Теду пришлось пережить мучительную минуту, пока Дэ Эм справляла у обочины малую нужду. Об объемистом мочевом пузыре его ретривера ходили легенды, и Тед не сомневался, что за время бесконечного ожидания, пока Дэ Эм выльет под поребрик лужу дымящейся мочи, Юджиния затеряется на Маркет-плейс-мьюз или на Маркет-лейн. Ей достаточно лишь свернуть направо или налево. Однако на перекрестке Юджиния быстро огляделась по сторонам и пошла вперед, к реке, никуда не сворачивая. Перейдя Дьюк-стрит, она оказалась на Харт-стрит, и Тед предположил, что она просто идет домой кружным путем, несмотря на непогоду. Но тут же он понял, что не угадал, потому что Юджиния внезапно направилась к церкви Святой Девы Марии. Увенчанная зубцами башня церкви была частью набережной, которой славился Хенли.

Однако Юджиния пришла сюда не затем, чтобы насладиться чудесным видом, – она вошла в церковь.

– Проклятье, – пробормотал Тед.

Что теперь? Войти за ней внутрь он не может, с ним собака. А бродить на улице под проливным дождем удовольствие небольшое. Конечно, можно привязать собаку к фонарному столбу и присоединиться к молитвам Юджинии, если она молится, но Теду будет трудно притвориться, будто он случайно встретился с ней в десятом часу вечера в церкви Девы Марии, – службы в это время обычно не было. А даже если и была, Юджиния знала, что он не большой любитель ходить в церковь. Так что же ему остается? Только развернуться и топтать домой, как

несчастному влюбленному идиоту. И все время безостановочно прокручивать в памяти тот миг на стоянке, когда она снова прикоснулась к незнакомцу тем самым жестом...

Тед яростно замотал головой. Так больше продолжаться не может. Он должен узнать худшее. Должен узнать сегодня же.

Заросшая травой и кустарником полоска земли между церковью и кладбищем разделялась надвое тропинкой, ведущей к кирпичным строениям приюта для неимущих. Во мраке ненастной ночи окна приюта ярко горели, и Тед направил свои стопы именно туда. Пока Юджиния в церкви, он может провести время с пользой, репетируя вступительную речь.

«Только посмотри на эту собаку – толстая как свинья, – скажет он. – Мы начали кампанию по борьбе с лишним весом. Ветеринар говорит, что, если ничего не изменится в ближайшее время, у нее сдаст сердце, вот поэтому-то мы и гуляем и будем гулять каждый вечер, обходя город. Можно, мы присоединимся к тебе, Юджиния? Ты ведь идешь домой? Ну как, готова поговорить? Помнишь, ты обещала рассказать мне что-то важное? Может, уже настало время? Потому что я не знаю, сколько еще смогу продержаться, гадая, о чем ты хочешь мне сказать».

Дело было в решении, которое они принял насчет нее, и пришел он к этому решению, не зная, пришла ли она к тому же. За пять лет, что минули после смерти Конни, ему ни разу не понадобилось добиваться женщины, поскольку женщины сами преследовали его. И хотя ему совсем не нравилось, когда его преследуют, – проклятье, и когда это женщины успели превратиться в агрессивных фурий? – и хотя такое преследование убивало в нем всякий энтузиазм, когда дело доходило до главного, но все-таки сознание того, что старина Уайли пользуется высоким спросом, приносило ему огромное удовлетворение.

Одна лишь Юджиния не преследовала его. И это заставляло Теда вновь и вновь задаваться вопросом: неужели для всех он настоящий мужчина, по крайней мере внешне, а для Юджинии по какой-то причине – нет?

Черт побери, почему он ведет себя как подросток, никогда еще не спавший с женщиной? Всею виной его неудачи с другими, решил Тед, неудачи, которых никогда не случалось у него с Конни.

– Ты должен сходить к врачу с этой маленькой проблемой, – сказала ему пиранья Джорджия Рамсботтом, поворачиваясь к нему костлявой спиной и накидывая на себя фланелевую сорочку. – Это ненормально для мужчины твоего возраста, Тед! Сколько тебе, шестьдесят пять? Нет, это ненормально.

Шестьдесят восемь, поправил он ее мысленно. И между ног у него кусок плоти, не желающий реагировать даже на самые кардинальные меры.

Но это потому, что они добиваются его. Эх, если бы они только позволили ему быть тем, кем испокон веков являются все мужчины, – охотником, а не добычей, – тогда бы все было в порядке. Ведь так? Так? Ему нужно было знать ответ на этот вопрос.

Его внимание привлекло неожиданное движение в одном из квадратов света – освещенных окон приюта для неимущих. Тед пригляделся: кто-то вошел в комнату, видневшуюся через окно. Это оказалась женщина. С возрастающим удивлением Тед наблюдал, как она подняла руки и сняла через голову красный свитер, потом бросила его на пол.

Он посмотрел направо и налево, чувствуя, что его щеки вспыхнули огнем, невзирая на хлещущий дождь. Поразительно, но некоторые люди не знают, как действует освещенное окно в темное время суток. Сами они не видят, что происходит снаружи, и потому считают, что их тоже не видно. Совсем как дети. Трех дочерей Теда тоже пришлось учить задерживать занавески, перед тем как начать раздеваться. Но если ребенку никто не подскажет, что надо так делать... наверное, кое-кто так и вырастает, не зная этого.

Он снова бросил взгляд в то окно. Женщина сняла бюстгальтер. Тед сглотнул. Дэ Эм, шаркая слабыми лапами по траве, случайно и совершенно невинно потянула поводок в сторону приюта.

Надо бы отпустить ее с поводка, далеко она не уйдет. Но вместо этого Тед пошел вслед за ретривером; поводок между хозяином и собакой провис до самой земли.

Женщина в окне начала расчесывать волосы. С каждым движением щетки ее груди поднимались и опали. Соски напряглись, коричневые ореолы вокруг них сжались и потемнели. Тед не мог оторвать взгляда от этих грудей, как будто именно их он жаждал увидеть весь вечер и все вечера, предшествовавшие этому дню. Он почувствовал, как внутри его возникает, нарастает возбуждение, как ускоряет свой бег кровь, как забила в нем жизнь.

Он вздохнул. С ним все в порядке. Он абсолютно здоров. Проблема только в том, что он – добыча. Решение этой проблемы – самому стать охотником и самому преследовать свою добычу.

Он дернул за поводок, чтобы Дэ Эм не шла дальше, и встал поудобнее, намереваясь понаблюдать за женщиной в ожидании своей Юджинии.

В приделе церкви Святой Девы Марии Юджиния не столько молилась, сколько ждала. Уже долгие годы она не ступала в храм, и единственной причиной, побудившей ее нарушить эту традицию, было желание избежать разговора, который она обещала Теду и себе.

Она знала, что он следит за ней. Уже не в первый раз она выходила из клуба «Шестьдесят с плюсом» и видела его силуэт под деревьями, но сегодня впервые не позволила себе заговорить с ним. Она не пошла в его сторону, ведь тогда пришлось бы давать объяснение той сцене на стоянке, свидетелем которой он, несомненно, был. Вместо этого Юджиния направилась на Маркет-плейс, не имея понятия, куда идти дальше.

Когда ее взгляд упал на церковь, она решила зайти внутрь и попробовать помолиться. Первые пять минут пребывания в приделе Богоматери она даже стояла на коленях на потертой пыльной подушке, смотрела на статую Девы и ждала, когда в памяти возникнут знакомые слова молитвы. Но они не приходили. Слишком много дум теснилось у нее в голове, слишком многое мешало молиться: давнишние споры и обвинения, бывшие привязанности и совершенные ради них грехи, нынешние проблемы и их возможные последствия в будущем, если она сделает неверный шаг.

В прошлом она и так наделала немало неверных шагов – их хватило бы, чтобы разрушить три дюжины жизней. Она уже давно поняла, что любое действие – это тот же камешек, брошенный в спокойную воду: круги, расходящиеся от него, становятся все тоньше и незаметнее, но все равно они есть.

Не дождавшись, когда к ней придет молитва, Юджиния встала с колен. Она села на скамью и стала рассматривать лицо статуи. «Ты ведь не сама решила оставить Его? – мысленно спросила она. – И поэтому Ты никогда не поймешь меня. А даже если бы и поняла, о чем я могу просить Тебя? Ты не в силах повернуть время вспять. Ты не можешь изменить то, что случилось. Ты не можешь вернуть к жизни то, что мертво, ведь если бы Ты могла, Ты бы сделала это, дабы избавить себя от пытки Его убийством. Правда, никто не говорит, что это было убийство. Все называют это жертвой во имя великого дела. Говорят, что Он отдал жизнь за нечто большее, чем жизнь. Как будто на свете есть что-то важнее жизни...»

Юджиния поставила локти на колени и уткнулась лбом в ладони. Согласно верованиям, которых она придерживалась прежде, Дева Мария с самого начала знала, что ей предстоит. Она совершенно четко представляла себе, что Сын, Ею вскормленный, будет вырван из Ее жизни в самом расцвете лет. Что Он будет унижен, избит, оклеветан и принесен в жертву. Что Он бесславно погибнет, а Она будет наблюдать за Его смертью. И единственным залогом того, что Его смерть была не напрасна, несмотря на то что Его оплевали и распяли на кресте между двумя обычными преступниками, была простая вера. Да, традиционная религия утверждает, будто Марии явился ангел и примерно обрисовал общую картину будущего, но это кажется слишком уж большой натяжкой.

Значит, Ее вела лишь слепая вера в то, что где-то существует высшее добро. Не в Ее жизни и не в жизни внуков, которых у Нее никогда не будет, но где-то там, впереди, оно обязательно существует.

Конечно, этого так и не произошло. Спустя две тысячи жестоких лет человечество по-прежнему пребывает в ожидании великого добра. Что сейчас думает Дева Мария, сидя на своем троне в облаках и наблюдая за нами? Как Ей кажется, стоят ли результаты той цены, которую она заплатила?

Долгие годы газеты говорили Юджинии, что результат – добро – превышает ту цену, какую ей пришлось заплатить. Но теперь она потеряла в этом уверенность. Высшее добро, которому, как ей казалось, она служила, грозило рассыпаться в ничто, как плетеный ковер, который, упорно распускаясь, становится насмешкой над создавшим его трудом. И только она сама может спасти этот коврик от исчезновения – если захочет.

Проблемой был Тед. Она не собиралась сближаться с ним. Целую бесконечность она воздерживалась от такого рода отношений с мужчинами, которые позволили бы им на что-то надеяться или рассчитывать. Сама мысль о том, что она способна, более того, достойна вызвать чувство привязанности у другого человека, казалась ей проявлением неслыханной гордыни. И все же ее тянуло к Теду, словно он был лекарством от боли, назвать которую ей не хватало смелости.

Поэтому она сидела в церкви. Она пока не хотела встречаться с Тедом – дорога еще не проложена. Она еще не нашла слов, которые проложили бы эту дорогу.

«Научи меня, что делать, Господи, – молилась она в тишине. – Научи меня, что сказать».

Но Бог молчал, как всегда. Юджиния опустила монетку в ящик для пожертвований и покинула церковь.

Снаружи по-прежнему лил дождь. Она раскрыла зонтик и направилась в сторону набережной. На углу ее настиг сильный порыв ветра, и пришлось остановиться, чтобы переждать его и поправить зонтик, вывернутый ветром наизнанку.

– Ну-ка, давай я помогу тебе, Юджиния.

Она обернулась и оказалась лицом к лицу с Тедом. К его ноге жалась несчастная Дэ Эм. Прорезиненная куртка Теда ярко блестела от влаги, кепка промокла насквозь и облепила голову. С его носа и подбородка стекала дождевая вода.

– Тед! – Она одарила его удивленной улыбкой. – Да ты совершенно мокрый! И бедняжка Дэ Эм! Что вы делаете на улице в такую погоду?

Он поправил ее зонтик и поднял его над ними обеими. Юджиния взяла его под руку.

– Мы занялись здоровьем Дэ Эм, – пояснил он, – и составили план упражнений. От дома до Маркет-плейс, затем к церкви и оттуда к дому – четыре раза в день. А ты что здесь делаешь? Мне показалось, ты вышла из церкви?

«Тебе не показалось, ты отлично знаешь это, – хотела сказать Юджиния Теду. – Ты просто не знаешь почему». Но вместо этого она шутливо махнула рукой.

– Зашла выпустить пар после заседания комитета. Помнишь? Комитет по подготовке к новогоднему празднику. Пришлось назначить им крайний срок, к которому нужно определиться с меню. Нам столько всего заказывать, так не могут же они надеяться, что рестораны будут ждать их решения до окончания веков!

– А сейчас ты домой?

– Да.

– И можно мне...

– Разумеется, можно.

Нелепо заниматься пустой болтовней, когда между ними растет стена того, что нужно сказать и что они намеренно оставляют невысказанным!

«Ты не доверяешь мне, Тед? Почему ты мне не доверяешь? Как же мы сумеем построить любовь без фундамента доверия? Я знаю, тебя тревожит, что я не рассказываю тебе того, о чем хотела рассказать. Но разве тебе недостаточно для начала самого этого желания открыться?»

Однако сейчас Юджиния не могла позволить себе пускаться в откровения. У нее был долг по отношению к узам куда более старым, чем их с Тедом растущее чувство; перед тем как предать прошлое огню, она должна навести в нем порядок.

И они продолжали обмениваться ничего не значащими фразами, шагая по набережной Темзы: как прошел его день, как прошел ее день, кто заходил в книжный магазин, как дела у его матери в «Тихих соснах». Он был добродушен и бодр; она – мила и задумчива.

– Устала? – спросил Тед, когда они подошли к двери в ее коттедж.

– Немного, – призналась Юджиния. – Длинный был день.

Он вручил ей зонтик со словами:

– Тогда не буду задерживать тебя, – но при этом смотрел на нее с таким откровенным ожиданием, что было ясно, на какой ответ он надеется: на приглашение выпить по глоточку бренди перед сном.

Только хорошее отношение к Теду заставило ее сказать правду:

– Мне надо ехать в Лондон, Тед.

– А-а, завтра рано вставать?

– Нет. Я еду сегодня. У меня назначена встреча.

– Встреча? Но под таким дождем ты доберешься до Лондона не раньше чем за час... Ты сказала, у тебя встреча?

– Да, встреча.

– Какая... Юджиния...

Он шумно выдохнул, и Юджиния расслышала, как он выругался себе под нос. По-видимому, это же услышала и Дэ Эм, судя по тому, как она подняла голову и удивленно моргнула, глядя на хозяина. Бедная животина вымокла до костей. Но по крайней мере, шкура у нее толстая, как у мамонта.

– Тогда позволь мне отвезти тебя, – сказал наконец Тед.

– Это будет не очень разумно.

– Но...

Она положила ладонь ему на рукав, останавливая его возражения, а потом подняла руку, намереваясь прикоснуться к его щеке, но Тед вздрогнул, и она отступила.

– Ты не занят завтра вечером? – спросила она.

– Ты же знаешь, для тебя я всегда свободен.

– Тогда давай поужинаем вместе. У меня. И поговорим, если захочешь.

Тед смотрел на нее, безуспешно пытаясь прочесть выражение ее лица и глаз. Она бы посоветовала ему не тратить понапрасну нервы. Слишком давно она играет роль в драме, которую ему пока не дано понять.

Юджиния спокойно ждала его ответа. Свет, падающий из окна ее гостиной, окрасил желтым его лицо, осунувшееся под гнетом лет и тревог – тревог, о которых Тед ей не рассказывал. И она была благодарна ему за то, что он не раскрывал перед ней свои самые глубинные страхи. Это помогало ей справляться с тем, что страшило ее саму.

Тед снял кепку – смиренный жест, которого Юджиния никогда бы от него не потребовала. Густые седые волосы тут же намокли; вместе с козырьком исчезла тень, скрывавшая прежде красноватую плоть носа. От этого Тед стал похож на того, кем был, – на старика. И Юджиния тоже почувствовала себя той, кем являлась: женщиной, не заслуживающей любви этого чудесного человека.

– Юджиния, – произнес он с усилием, – если тебе трудно сказать мне, что ты... что ты и я... что мы не...

Он не справился с собой и отвернулся, уставился на книжный магазин на другой стороне улицы.

– Ни о чем таком я не думаю, – сказала она. – Разве что о Лондоне и о том, как туда доберусь. Этот ливень... Но я буду осторожна. Не надо волноваться за меня.

Она вкладывала в свои слова скрытый смысл и с радостью увидела по просветлевшему лицу Теда, что он понял ее.

– Ты для меня – целый мир, – просто сказал он. – Юджиния, понимаешь? Ты для меня – целый мир. И пусть по большей части я веду себя как полный идиот, но я...

– Знаю, – остановила она его. – Знаю. Поговорим завтра.

– Тогда до завтра.

Он неловко поцеловал ее, ударившись головой о зонтик и чуть не выбив его из рук Юджинии.

Дождь накинудся на ее лицо. По Фрайди-стрит пронеслась машина. Из-под колес взметнулась вода и обрызгала Юджинию.

Тед развернулся вслед исчезающему автомобилю.

– Эй! – крикнул он фарам. – Смотри, куда едешь!

– Не надо, Тед. Все в порядке, – сказала Юджиния. – Ничего страшного, правда.

Он обернулся к ней со словами:

– Проклятье. Да это же... – и оборвал себя на полуслове.

– Что? – спросила Юджиния. – О чем ты?

– Ничего. Это я так. – Он потянул поводок, поднимая ретривера на лапы, чтобы преодолеть последние несколько ярдов до дома. – Значит, мы поговорим? – уточнил он. – Завтра? После ужина?

– Обязательно, – сказала она. – Нам о многом надо поговорить.

В дорогу Юджиния собралась быстро. Умылась и почистила зубы. Причесалась, повязала голову темно-синим шарфом. Нанесла на губы бесцветный бальзам и вставила в плащ зимнюю подстежку, чтобы защитить себя от сырости. В Лондоне всегда проблемы с парковкой; кто знает, как далеко ей придется идти через холодную дождливую ночь от машины до места встречи.

В плаще и с сумочкой в руке Юджиния спустилась по узкой лестнице на первый этаж. С кухонного стола она взяла фотографию в простой деревянной рамочке. Это была одна из дюжины фотографий, обычно расставленных у нее по всему дому. Перед тем как выбрать одну, она выстроила их все, как солдатиков, на столе, где они и остались стоять, за исключением выбранной.

Юджиния прижала рамку к груди и вышла из дома в ночь.

Ее машина была припаркована на огороженной стоянке, за место на которой Юджиния вносила ежемесячную плату. Сама стоянка пряталась за электрифицированными воротами, покрашенными так, чтобы напоминать дома, стоящие справа и слева от них.

Была в этом некая надежность, а Юджинии надежность нравилась. Ей нравилась иллюзия безопасности, которую создавали ворота и замки.

В машине – подержанном «поло» с сиплым, как астматик, вентилятором – она аккуратно положила рамку с фотографией на пассажирское сиденье и завела двигатель. К этой поездке в Лондон Юджиния подготовилась заранее: узнав о дате и месте, сразу проверила уровень масла в двигателе, заехала на заправку, чтобы залить бензин и попросить подкачать шины. Встречу назначили на поздний час, и сначала она хотела отказаться, когда поняла, что десять сорок пять – это не утро, а вечер. Но у нее не было никакого права спорить, и она отлично это осознавала, так что в конце концов согласилась. Зрение у нее уже не то, что раньше. Но она справится.

Однако на дождь Юджиния не рассчитывала. И, выезжая из Хенли на извилистую трассу в Марлоу, она обнаружила, что сидит, вцепившись в руль и пригнувшись вперед, наполовину

ослепленная фарами встречных машин, свет которых, преломленный проливным дождем, впиался острыми копьями в лобовое стекло ее машины.

На трассе М40 дела обстояли ничуть не лучше. Легковые автомобили и грузовики поднимали волны брызг, с которыми «дворники» «поло» не справлялись. Разметка по большей части исчезла под лужами, а та, что еще была видна, верткой змейкой играла со зрением Юджинии в прятки, то и дело оказываясь границей совершенно другой полосы движения.

И только в непосредственной близости от «Уормвуд-скрабс»⁵ Юджиния немного ослабила мертвую хватку, с которой держала руль. Но вздохнуть с облегчением она смогла, лишь когда съехала с гладкой и блестящей полосы мокрого бетона и направилась на север, к Мейдахилл.

При первой же возможности она притормозила у обочины и остановила машину, чтобы вдохнуть наконец полной грудью. Ей казалось, что она не дышала с тех самых пор, как выехала на Дьюк-стрит в Хенли.

Где-то в сумочке у нее должна была лежать схема проезда к нужному адресу – она нарисовала ее по дорожному атласу Лондона. Да, до города она добралась без потерь, но предстояло преодолеть еще четверть пути по лабиринту лондонских улочек.

Город и в лучшие времена был сущей головоломкой. Ночью он становился плохо освещенной головоломкой со смехотворно малым количеством указателей. Ну а дождливой ночью превращался в преисподнюю. Первые три попытки оказались неудачными: добравшись до Паддингтонского парка отдыха, Юджиния двигалась дальше и понимала, что заблудилась. Умудренная опытом, она каждый раз возвращалась к парку, как водитель такси, упорно желающий понять, где же он сделал первую ошибку.

Поэтому нужную ей улицу в северо-западной части Лондона Юджиния нашла только без двадцати одиннадцать. И потратила еще семь сводящих с ума минут, кружа в поисках места для остановки.

Она снова прижала фотографию к груди, достала с заднего сиденья зонтик и выбралась на улицу.

Тем временем дождь стих, но ветер все не успокаивался. Те немногие листья, что еще оставались на деревьях, в конце концов прекращали сопротивление и срывались в воздух, а потом распластывались на тротуаре, проезжей части или стоящих повсюду автомобилях.

Юджинии нужен был дом номер тридцать два, в другом конце улице, как она поняла, и на противоположной стороне дороги. Двадцать – тридцать ярдов она прошла по тротуару. В этот час в домах, мимо которых пролегал ее путь, свет уже был погашен. Если бы Юджиния не нервничала перед встречей, то ее живое воображение наверняка заставило бы ее поворачиваться, рисуя опасности, скрытые в темных переулках. И все же меры предосторожности никогда не бывают лишними, решила Юджиния, свернула с тротуара и вышла на середину улицы, где ее труднее было бы застать врасплох.

Она не думала, что на нее действительно кто-то нападет. Это был приличный район. Но одинокая женщина в городе поздним осенним вечером должна быть предельно внимательна. Юджиния даже обрадовалась, когда дорога перед ней осветилась: это значило, что у нее за спиной на улицу въехала машина. Она двигалась так же медленно, как сама Юджиния несколькими минутами ранее, явно в поисках самого ценного из лондонских удобств – места для парковки. Юджиния обернулась, шагнула в сторону, за ближайший автомобиль, собираясь подождать, пока машина не обгонит ее. Но та тоже свернула к обочине и остановилась; водитель на мгновение включил дальний свет, чтобы показать, что дорога свободна.

А-а, значит, она не угадала, размышляла Юджиния, поправляя сумочку и снова выходя на середину улицы. Значит, водитель машины не ищет место, где бы остановиться, а просто

⁵ Лондонская тюрьма.

ждет кого-то из живущих в доме, перед которым он притормозил. Придя к этому заключению, она глянула через плечо, и водитель, как будто прочитав ее мысли, нажал на сигнал – сердито и коротко, как родитель, зовущий непослушного ребенка.

Юджиния пошла дальше. По пути она считала пройденные дома. Вот остались позади номера десять и двенадцать, то есть она отошла от своей машины всего на шесть домов.

Вдруг свет, все еще заливавший перед ней дорогу, дрогнул и погас.

Странно, подумала Юджиния. Нельзя же вот так взять и припарковаться на улице. И, думая так, она начала оборачиваться. Что, как оказалось, было не худшей из ее ошибок.

Вспыхнули ярким огнем фары и ослепили ее. Ничего не видя, она остановилась, как часто делают те, на кого охотятся.

Взревел мотор; завизжали шины.

Когда машина ударила ее, она взлетела, широко раскинув руки. Ракетой выстрелила в воздух рамка с фотографией.

Глава 2

Дж. В. Пичли, известный также как Человек-Язык, восхитительно провел вечер. Он нарушил правило номер один – не быть инициатором встречи с человеком, с которым занимался виртуальным сексом, – и тем не менее все прошло отлично, в очередной раз доказав Пичли, что его природное чутье на плоды пусть и перезрелые, но зато еще более сочные оттого, что долго повисели на дереве без внимания, отточено так же остро, как хирургический инструмент.

Скромность и честность вынуждали его признать, что на самом деле он не сильно рисковал. Любая женщина, взявшая себе прозвище Кремовые Трусика, тем самым заявляла на весь свет о своих желаниях, и если у Пичли и оставались какие-то сомнения, то пять электронных свиданий, во время которых он кончал в трусы от Кельвина Кляйна, ни разу не прикоснувшись к своему органу, должны были успокоить его. В отличие от других его виртуальных любовников, которых в настоящее время у Пичли было пятеро и чьи познания в грамоте зачастую были столь же ограничены, сколь и воображение, Кремовые Трусика обладала фантазией, от которой мозг Пичли просто вскипал, и прирожденным талантом выражать эти фантазии, заставляющим его член вздыматься как священный жезл, стоило только выйти в Сеть.

«Это Трусика, – писала она. – Готов, Язык?»

Ого! О да, он всегда был готов.

Так вышло, что с ней он первым совершил символический прорыв, вместо того чтобы дожидаться, когда это сделает его виртуальный партнер. И это было абсолютно нехарактерно для него. Обычно он охотно подыгрывал и всегда был наготове на другом конце интернет-соединения, когда один из его любовников хотел действия, но сам никогда не предлагал выйти в реальный мир до тех пор, пока этого не предлагал партнер. Следуя этому правилу, Пичли успешно трансформировал двадцать семь киберсвиданий в двадцать семь исключительно приятных соитий во плоти в гостинице «Комфорт-инн» на Кромвель-стрит. Гостиница эта находилась на разумном удалении от места его проживания, а в качестве ночного администратора там служил азиатский джентльмен, чья память на лица сильно уступала его непреходящей страсти к старым костюмированным драмам Би-би-си. Только один раз Пичли стал жертвой кибершутки, согласившись встретиться с любовником по прозвищу Трахни Меня. Придя на условленное место, он обнаружил, что его ждут два прыщавых подростка. Но ничего. Он вычислил их довольно быстро, и теперь они больше не смогут разыграть его.

Но вот Кремовые Трусика задела его за живое. «Ты готов?» Почти с самого первого их виртуального разговора он гадал: может ли она делать в жизни то, что умеет делать словами?

Этот вопрос возникает всегда. И предвкушение, фантазии и получение ответа составляют немалую долю удовольствия.

Пичли немало потрудился для того, чтобы подвести Трусика к предложению встретиться. Он взбирался на новые головокружительные высоты описательного блуда с женщинами. Пытаясь найти свежие идеи в сфере плотских утех, он потратил две недели на ознакомление с атрибутами сексуального удовлетворения в известного рода магазинах без витрин на Бруэр-стрит. И когда он поймал себя на том, что всю поездку на работу в Сити погружен в похотливые видения их сплетенных тел на чудовищного цвета постельном белье «Комфорт-инн», вместо того чтобы читать «Файнэншл таймс», от содержимого которой зависит его карьера, – вот тогда он понял, что настала пора действовать.

И он написал ей: «Хочешь заняться этим по-настоящему? Ты готова рискнуть?»

Она была готова рискнуть.

Он предложил то, что всегда предлагал своим виртуальным любовникам, когда те просили о реальном свидании: по стаканчику выпивки в ресторане «Королевская долина», найти который довольно просто, всего несколько шагов от универсама «Сейнсбериз» по Кром-

вель-роуд. Она может приехать туда на машине, на такси, на автобусе или на метро. И если при встрече они поймут, что друг другу не нравятся... что ж, по бокалу мартини и никаких сожалений, хорошо?

Ресторан «Королевская долина» обладал тем же бесценным свойством, что и гостиница «Комфорт-инн». Подобно большинству предприятий в сфере обслуживания, работники этого ресторана практически не говорили на английском языке, и все англичане казались им на одно лицо. Дж. В. Пичли приводил туда двадцать семь своих виртуальных любовников, но ни метрдотель, ни бармен, ни официанты даже не моргнули в знак того, что узнают его. Поэтому он не сомневался, что может привести Кремовые Трусики в «Королевскую долину» без боязни, что персонал выдаст его.

Пичли узнал ее в тот самый миг, когда женщина появилась в дверях пропахшего шафраном бара. Он с удовлетворением отметил, что в очередной раз инстинкты не подвели его: каким-то шестым чувством он еще до встречи догадался, кем окажется его новая любовница. Не моложе пятидесяти пяти лет, чисто вымытая и опрятная, в меру надушенная – это вам не какая-нибудь шлюшка на охоте. И не наркоманка из бедных районов, желающая подзарядиться. И не деревенщина, приехавшая в столицу в поисках парня, который поднял бы ее социальный статус и уровень жизни. Нет, она была именно такой, какой он представлял ее себе: одинокая женщина в разводе, дети давно выросли и перспектива стать бабушкой открывается лет на десять раньше, чем она ожидала. Эта женщина горела желанием доказать себе, что еще обладает определенной долей сексапильности, невзирая на морщины на лице и намечающийся второй подбородок. И в данном случае неважно, что у Пичли были свои причины выбрать женщину старше себя на дюжину лет. Он с готовностью предоставит требуемые доказательства ее привлекательности.

И таковые были предоставлены в номере сто девять, на втором этаже, всего в десяти ярдах от ревущего потока машин. Номер с окном на улицу – а именно такое требование *sotto voce*⁶ предъявлял Пичли, получая ключи, – устранял необходимость оставаться в гостинице на ночь. Ни один человек, обладающий нормальным слухом, не сможет заснуть в номере, выходящем на Кромвель-роуд. А поскольку Пичли меньше всего хотелось провести со своей виртуальной любовницей ночь, то возможность сказать в удобный момент: «Господи, ну и шум» – обеспечивала достойную прелюдию к джентльменскому исходу.

Все прошло в строгом соответствии с планом: выпивка перетекла в признание взаимной физической привлекательности, что привело к прогулке до «Комфорт-инн», где энергичное совокупление закончилось взаимным же удовлетворением. В жизни Кремовые Трусики – свое настоящее имя она кокетливо утаила – оказалась лишь чуть менее изобретательна, чем в переписке. Когда все сексуальные движения, позы и возможности были ими тщательно исследованы, они откатились друг от друга, липкие от пота и других телесных выделений, и прислушались к грохоту грузовиков, мчавшихся под окном.

– Господи, ну и шум, – простонал он. – Надо же, как неудачно я выбрал место. Мы здесь глаз не сомкнем.

– О! – Намек не пропал втуне. – Ничего страшного. Я все равно не могу остаться на ночь.

– Как? – с обидой в голосе.

Улыбка:

– Я не рассчитывала на это. Ведь не было никакой гарантии, что в реальной жизни мы сойдемся так же быстро, как в Сети. Сам знаешь.

Еще как знал. И теперь, когда он ехал домой, у него оставался только один вопрос: «Что дальше?» Они набросились друг на друга, как бобры на дерево, и целых два часа получали и доставляли наслаждение. При расставании обе стороны обещали «списаться», но в прощаль-

⁶ Вполголоса (*um.*).

ном объятии Кремовых Трусики было что-то такое, что противоречило ее небрежным словам и подсказывало Пичли, что самым мудрым будет некоторое время держаться от нее подальше.

И после долгой бесцельной поездки под дождем Пичли пришел именно к такому решению.

Зевая, он свернул на свою улицу. После столь активно проведенного вечера сон будет особенно сладок. Да-а, все-таки в смысле благотворного влияния на сон ничто не может сравниться с пылкими занятиями сексом с малознакомой зрелой женщиной.

Он шурился, вглядываясь в лобовое стекло. Ровное постукивание «дворников» убаюкивало. Преодолев подъем и готовясь свернуть к дому, Пичли включил сигнал поворота – не столько по необходимости, сколько по привычке – и начал прикидывать, сколько еще времени потребуется Пламенной Леди и Вкусняшке на то, чтобы созреть до предложения реальной встречи, когда вдруг заметил рядом с последней моделью «воксхолла калибры» кучку мокрой одежды.

Пичли вздохнул. Кажется, человечество доживает свои последние дни. Под прикрытием тонкой оболочки эпидермиса люди превращаются в свиней. Действительно, зачем тащить ненужное тряпье в благотворительные организации, когда можно бросить его прямо на улице? До чего же противно.

Он уже почти миновал темную массу, когда в глаза ему бросился кусочек чего-то белого в самом ее низу. Он присмотрелся. Мокрый носок? Изорванный шарф? Скомканное женское белье? Что?

И тут он понял. Его нога ударила по педали тормоза.

До него вдруг дошло, что белое – это рука, запястье и часть предплечья, торчащие из черного рукава пальто. Наверное, обломок манекена, убеждал себя Пичли, чтобы успокоить бие-ние сердца. Кто-то находящийся на первобытном уровне развития решил пошутить. И вообще человек не может быть таким маленьким. К тому же нет ни ног, ни головы. Только рука.

Несмотря на собственные убедительные доводы, Пичли опустил окно и высунул голову под дождь. Всмотревшись в бесформенную грудку, он увидел остальные части тела.

Ноги были. И голова тоже. Просто он не увидел их сразу через залитое дождем окно, тем более что голова была наклонена к груди, будто в молитве, а ноги – засунуты под «калибру».

Сердечный приступ, подумал он, хотя его глаза говорили ему иное. Аневризма. Инсульт.

Но что делают ноги под машиной? Единственно возможное объяснение состоит в том, что...

Пичли выхватил из кармана мобильник и три раза нажал на девятку.

Тело старшего инспектора Эрика Лича кричало: «Грипп!» У него болело все, что могло испытывать боль. Голова, щеки и грудь взмокли от пота, и в то же время его бил озноб. Надо было сразу, как только почувствовал себя дерьмово, позвонить в отдел и сказать, что заболел. И тогда он получил бы двойную выгоду. Во-первых, отоспался бы за все те дни, когда пытался перестроить свою жизнь после развода, а во-вторых, имел бы весомую отмазку, когда в полночь раздался звонок. А так ему приходится тащить свою несчастную дрожащую задницу из плохо обставленной квартирki в холод, ветер и дождь, где он наверняка подхватит двустороннюю пневмонию.

«Век живи, век учись, – устало поучал себя старший инспектор Лич. – Следующий раз женюсь – ни за что не разведусь».

Когда он повернул на нужную улицу, его встретили проблески голубых полицейских маячков. Время перевалило за полночь, но длинный подъем перед старшим инспектором был освещен как днем. Техники уже подключили прожекторы, и фотоаппараты судмедэкспертов исторгали молнии вспышек.

Необычное оживление под окнами вывело из домов на улицу плотную группу зевак, но от места преступления их отгораживала натянутая вдоль тротуара лента. Улицу с обеих сторон

перекрыли барьерами. Там уже скопились журналисты, эти вампиры радиоволн, постоянно настроенные на частоту городской полиции в надежде первыми услышать, что где-то пролилась свежая кровь.

Старший инспектор Лич достал из упаковки леденец «стрепсилс». Машину он оставил позади кареты «скорой помощи», у переднего бампера которой собрались одетые в водонепроницаемые накидки санитары и попивали кофе из термосов. По неторопливым движениям легко можно было догадаться, какая из их услуг сегодня потребуется. Лич кивнул им и нахотелся, прячась от холодных струй дождя. Молодой долговязый полицейский, назначенный следить за тем, чтобы журналисты держались в дозволенных им пределах, проверил удостоверение Лича, и старший инспектор прошел за барьер и направился к группе профессионалов, стоящих примерно посреди улицы вокруг одного из автомобилей.

Еле передвигая ноги, Лич взбирался на пологий подъем, невольно ловя обрывки разговоров в толпе. Те из зевак, кто понимал, сколь неумолим и беспристрастен косарь, собирающий свой мрачный урожай, вполголоса обменивались почтительными замечаниями. Но время от времени раздавались и опрометчивые жалобы на шум и суматоху полицейского расследования, последовавшего за внезапной смертью в неурочный час. Одна из таких жалоб, произнесенная с интонацией, с которой обычно говорят: «Здесь пахнет отвратительно, и мне кажется, что воняете именно вы» – и которую Лич просто не выносил, прозвучала у него под ухом. Он тут же развернулся и пошел в направлении недовольного гражданина, который заканчивал фразу: «...нарушают спокойный сон без видимых причин, помимо удовлетворения самых низменных инстинктов желтой прессы». Гражданином этим оказалась волосатая ведьма, потратившая все свои сбережения на оплату пластической операции, явно неудавшейся.

– Если своевременная оплата налогов не может защитить человека от подобного посягательства... – вещала она, когда Лич прервал ее на полуслове, обратившись к ближайшему полицейскому из заграждения.

– Заткните эту сучку! – пролаял он. – Если потребуется, убейте. – И проследовал дальше.

На тот момент на сцене преступления доминировал судебно-медицинский эксперт под самодельным шатром из полиэтилена, одетый в причудливую комбинацию из твидового костюма, резиновых сапог и плаща по последней моде. Он только что завершил первичное обследование тела, и Лич увидел достаточно, чтобы понять, что они имеют дело либо с трансвеститом, либо с женщиной неопределенного возраста. В любом случае жертва сильно пострадала. Лицевые кости раздроблены, из дыры, на месте которой когда-то было ухо, сочилась кровь; содранная кожа на черепе отмечала места, где были вырваны волосы; голова свисала под вполне естественным углом, но была противоестественно развернута. Человеку, и без того чуть не падающему с ног от лихорадки, такое зрелище пришлось удивительно кстати.

Медэксперт, доктор Олав Гротсин, уперся ладонями в колени и выпрямился. Он стянул с рук латексные перчатки, бросил их ассистентке и тут заметил Лича, который пытался игнорировать свое дурное самочувствие и одновременно оценивал то, что можно было оценить с позиции в четырех футах от тела.

– Выглядишь ужасно, – сказал Гротсин Личу.

– Что тут у нас?

– Женщина. Когда я прибыл, была мертва как минимум час. Максимум – два.

– Ты уверен?

– В чем – в поле или во времени?

– Меня сейчас волнует пол.

– У нее есть груди. Старые, но есть. Что касается остального, то мне не хотелось резать белье прямо на улице. Полагаю, ты в силах подождать до утра.

– Что произошло?

– Наезд и бегство с места происшествия. Повреждения внутренних органов. Рискну предположить, что разорвано все, что только может быть разорвано.

Лич сказал:

– Хреново, – и, обойдя Гротсина, опустился возле трупa на корточки.

Тело лежало у правого переднего колеса «воксхолла калибры», на боку, спиной к дороге. Одна рука закинута назад, ноги спрятаны под автомобиль. Сама машина не повреждена, заметил Лич, и это не явилось для него неожиданностью. Он с трудом мог вообразить ситуацию, в которой водитель в отчаянных поисках места для парковки наезжает на лежащего на дороге человека. Затем Лич осмотрел следы от колес на теле женщины и на ее темном плаще.

– У нее вывихнута рука, – продолжал за его спиной Гротсин. – Обе ноги сломаны. И мы обнаружили розовую пену. Увидишь, если повернешь ей голову.

– Дождь не смыл ее?

– Голова была защищена капотом машины.

«Защищена». Странный выбор слов, подумал Лич. Бедняжка мертва, кем бы она ни была. Розовая пена из легких указывала на то, что женщина умерла не сразу, но им от этого толку было мало и уж тем более никакой пользы для незадачливой жертвы.

Конечно, если кто-нибудь не наткнулся на нее, пока она была еще жива, и не расслышал несколько важных слов.

Лич поднялся и спросил:

– От кого поступило сообщение?

– Он здесь, сэр, – ответила старшему инспектору ассистентка Гротсина.

Она кивком указала на противоположную сторону дороги, где Лич впервые увидел «порше бокстер», припаркованный во втором ряду с включенной аварийкой. С обоих концов машину охраняли два констебля, а чуть дальше стоял под полосатым зонтом мужчина средних лет в непромокаемом плаще. Его тревожный взгляд перебегал с «порше» на истерзаный труп и обратно.

Лич подошел, чтобы осмотреть спортивный автомобиль. Работа была бы недолгой, если бы водитель, машина и жертва образовали на ночной улице маленькую аккуратную триаду, но, еще не приступив к осмотру, Лич знал, что надежды на это мало. Гротсин не стал бы использовать термин «наезд и бегство», если бы имело место только первое.

И все равно Лич внимательнейшим образом оглядел машину со всех сторон. Он присел перед капотом и изучил переднюю часть кузова. Затем обратил внимание на шины и проверил все четыре колеса. Он опустился на омытый дождем асфальт и исследовал подвеску «порше». Закончив, он приказал отправить машину на экспертизу.

– Позвольте, в этом нет никакой необходимости, – последовало возражение со стороны мистера Полосатый Зонт. – Я же остановился, верно? Как только увидел, что... И сообщил куда следует. Само собой, вы должны принять во...

– Порядок есть порядок. – Лич подошел к мужчине, который в этот момент принимал стаканчик с кофе от одного из полицейских. – Скоро вы получите свою машину обратно. Ваше имя?

– Пичли, – ответил мужчина. – Дж. В. Пичли. Но послушайте, это дорогая машина, и я не вижу причин... Боже праведный, да если бы я сбил ее, на машине остались бы следы!

– Значит, вы знаете, что это женщина?

Пичли стал суетливо соображать:

– Должно быть, я подумал... Да, я подошел к нему... к ней. После того, как позвонил по девять-девять-девять. Я вылез из машины и подошел посмотреть, нельзя ли что-нибудь сделать. Она ведь могла быть еще жива.

– Но не была?

– Точно я не знал. Она не... То есть я видел, что она без сознания. Она не издала ни звука. Может быть, и дышала, но... И я знал, что нельзя ни к чему прикасаться...

Он глотнул кофе. От стаканчика поднимался пар.

– Ее изрядно потрепало. Наш эксперт заключил, что это женщина, проверив наличие у нее грудей. А что вы сделали, чтобы понять это?

Пичли пришел в ужас от того, что подразумевалось под этими словами. Он оглянулся через плечо на тротуар, словно беспокоясь, что зеваки, стоящие там, могли услышать их беседу и сделать из нее неверные выводы.

– Ничего, – негромко сказал он. – Господи! Ничего я не делал. Скорее всего, я увидел, что под пальто на ней юбка. Или что волосы у нее длиннее, чем у мужчины...

– Там, где они вырваны с корнем.

Пичли состроил гримасу, но продолжил:

– Значит, я увидел юбку и сделал вывод, что это женщина. Да, так и было.

– А лежала она именно на этом месте? Прямо у «воксхолла»?

– Да. Именно на этом месте. Я не трогал ее, не двигал никуда.

– Заметили кого-нибудь на улице? На тротуаре? На крыльце? В окне? Еще где-нибудь?

– Нет. Никого. Я просто проезжал мимо. И вокруг никого не было, только она, и я бы вообще не заметил ее, если бы не бросилось в глаза что-то белое – ее рука... или запястье... Точно.

– В машине вы были один?

– Да. Да, конечно. Я был один. Я живу один. Вон там, в том доме.

Лич отметил, что эту информацию Пичли почему-то выдал по собственной инициативе. Он спросил:

– Откуда вы возвращались, мистер Пичли?

– Из Южного Кенсингтона. Я был... ужинал с приятелем.

– Как зовут вашего приятеля?

– Позвольте! Меня что, обвиняют в чем-то? – Пичли не столько встревожился, сколько возмутился. – Если вызов полиции при обнаружении трупа является основанием для подозрений, то я предпочел бы, чтобы здесь присутствовал мой адвокат, когда меня... Эй, вы! Держитесь подальше от моей машины, вам понятно?

Последнее восклицание относилось к смуглолицему констеблю, входившему в поисковую команду, прочесывающую улицу.

Неподалеку как раз двигалась группа констеблей из этой же команды, и от них отделилась девушка, сжимавшая в латексной перчатке женскую сумочку. Она двинулась к Личу, он тоже натянул перчатки и отошел от Пичли, но сначала велел ему оставить адрес и телефон одному из констеблей, охранявших его «порше». С девушкой-констеблем он встретился посреди улицы и принял от нее сумочку.

– Где вы нашли ее?

– В десяти ярдах от тела. Под «монтегро». Внутри ключи и бумажник. А еще водительское удостоверение и другие документы.

– Она местная?

– Из Хенли-он-Темз, – ответила девушка.

Лич открыл замок сумочки, выудил оттуда автомобильные ключи и отдал их констеблю.

– Проверьте, не подходят ли они к какой-нибудь из машин поблизости, – велел он ей и, когда она зашагала выполнять поручение, вынул бумажник и стал изучать документы.

Прочитав имя в первый раз, он его не узнал. Потом он будет недоумевать, почему не вспомнил ее сразу. Наверное, дело было в том, что чувствовал он себя хуже, чем растоптанное лошадиное дерьмо. И только прочитав ее имя на карточке донора внутренних органов и на нескольких чеках, он понял, кто эта женщина.

Старший инспектор оторвал взгляд от сумки, которую держал в руках, и посмотрел на искаленную фигуру ее владелицы, лежащей на дороге подобно куче тряпья. Трясаясь от озноба, он пробормотал:

– Господи! Юджиния! Господи Иисусе! Юджиния!

На другом конце города констебль Барбара Хейверс пела вместе с остальными гостями семейного торжества и гадала, сколько еще приторных песенок придется ей спеть, прежде чем она сможет сбежать отсюда. Беспокоило ее не позднее время. Да, час ночи означал, что она рискует не добрать положенное количество часов сна, требуемое для поддержания красоты. Но даже если она превратится в Спящую красавицу, то и в этом случае лучше выглядеть не будет, а значит, нужно просто надеяться на то, что ей удастся поспать хотя бы часа четыре. На самом деле ей не давал покоя повод для этого торжества. Ради чего ее вместе с коллегами по Скотленд-Ярду затолкали в этот жарко натопленный дом и держат здесь вот уже пять часов кряду?

Понятно, что брак длиною в двадцать пять лет достоин того, чтобы устроить праздник. Барбаре хватило бы пальцев правой руки, чтобы пересчитать знакомые ей пары, достигшие этой знаковой цифры супружеского долголетия, и даже не пришлось бы использовать большой палец. Но вот в этой паре было что-то... неправильное, что ли. Как только она вошла в гостиную, где желтая гофрированная бумага и зеленые воздушные шарики самоотверженно скрывали убогость, вызванную не столько бедностью, сколько равнодушием, ее охватило ощущение, что виновники торжества и собравшаяся компания разыгрывают некую домашнюю пьесу, в которой ей, Барбаре Хейверс, роли не дали. И она не могла отделаться от этого ощущения, как ни старалась.

Сначала она объясняла себе это чувство отчужденности тем, что она пришла сюда вместе со старшими офицерами, один из которых три месяца назад спас ее шею от профессиональной виселицы, а другой пытался затянуть на той же шее веревку. Потом она решила, что ее дискомфорт объясняется тем, что на мероприятие она прибыла в своем обычном статусе – без партнера, тогда как все остальные пришли парами. Даже ее приятель детектив-констебль Уинстон Нката привел с собой мать – импозантную даму шести футов ростом в национальном костюме Карибских островов. В конце концов Барбара остановилась на мысли, что источником ее дурного настроения является сам факт празднования годовщины чьей бы то ни было семейной жизни. «Завистливая корова», – обругала она себя.

Но даже это объяснение не выдерживало более-менее серьезной критики, потому что при нормальных обстоятельствах Барбара не была склонна тратить душевную энергию на зависть. Да, в мире существовало множество поводов для того, чтобы она предалась этому бесплодному чувству. Например, в данный момент она стояла посреди болтающих пар – мужей и жен, родителей и детей, любовников и компаньонов, – а у нее не было ни мужа, ни партнера, ни ребенка и на горизонте – ни единой перспективы изменить хотя бы одно из этих трех «ни». Однако на такое положение дел она умела реагировать: находила путь к столу с закусками и оставалась там до тех пор, пока удовлетворенный желудок не помогал ей убедить себя в том, что статус одинокой женщины предоставляет ей массу свобод. Таким образом она справлялась с любыми неприятными мыслями и чувствами, могущими пошатнуть ее душевное спокойствие.

И все-таки она не чувствовала того доброжелательства, какое приличествует приглашенному на юбилей гостю. Когда виновники торжества взяли огромный нож в сплетенные руки и начали атаковать торт, украшенный розами, плющом, сдвоенными сердцами и словами «25 лет счастья» на самом верху, Барбара украдкой оглядела толпу, чтобы проверить, неужели только она одна из всех собравшихся уделяет больше внимания своим часам, чем душещипательным моментам торжества. Да, похоже, только она. А все остальные полностью заняты суперинтен-

дантом полиции Малькольмом Уэбберли и его бессменной подругой жизни на протяжении четверти века, почтенной Фрэнсис Уэбберли.

Этим вечером Барбара впервые увидела жену суперинтенданта Уэбберли. Наблюдая за тем, как Фрэнсис кормит мужа тортом и как со смехом открывает рот для принятия ответного угощения, Барбара вдруг поняла, что весь вечер старается не задумываться над своим впечатлением от нее. Друг другу их представила дочь Уэбберли Миранда, игравшая роль хозяйки дома, и между ними завязалась вежливая беседа, типичная для подобных встреч с супругами коллег: «Как давно вы знаете Малькольма? Не трудно ли вам работать в коллективе, почти целиком состоящем из мужчин? Как получилось, что вы работаете в отделе по расследованию убийств?» Разговор был кратким, и все-таки Барбара не могла дождаться, когда же можно будет сбежать от Фрэнсис, хотя та была весьма любезна и не сводила с лица собеседницы небесно-голубых глаз.

Вероятно, дело именно в них, решила Барбара. Вероятно, причиной ее неловкости являются глаза Фрэнсис Уэбберли и то, что они пытаются скрыть: переживание, проблему, нечто не совсем правильное.

Но определить, что же было неправильно, Барбара никак не могла. Поэтому она вновь окунулась в заключительный, как она горячо надеялась, этап вечеринки и вместе со всеми гостями завершила пение бурными аплодисментами.

– Расскажите, как вам это удалось! – крикнул кто-то из приглашенных, когда Миранда Уэбберли сменила родителей на раздаче торта.

– Только благодаря тому, что мы не возлагали друг на друга слишком больших ожиданий, – поспешно ответила Фрэнсис Уэбберли, двумя ладонями сжимая руку мужа. – Я быстро это усвоила, верно, дорогой? Что было и к лучшему, так как единственное, что я вынесла из этого брака помимо самого Малькольма, – это пятнадцать килограммов, которые так и не смогла скинуть после того, как родила Рэнди.

Гости подхватили ее веселый смех, а Миранда лишь ниже опустила голову и продолжила резать торт.

– Они стоили того.

Это сказала Хелен, жена инспектора Томаса Линли. Она только что получила из рук Миранды тарелку с тортом и дружески прикоснулась к плечу девушки.

– В точку, – согласился суперинтендант Уэбберли. – У нас лучшая в мире дочь.

– Вы правы, разумеется, – сказала Фрэнсис и широко улыбнулась Хелен. – Что бы я делала без нашей Рэнди! Но вот увидите, графиня, настанет день, когда ваша стройная фигура расплзется, а лодыжки опухнут. Вот тогда вы узнаете, о чем я говорю. Леди Хильер, могу я предложить вам кусочек торта?

Ага, вот оно, подумала Барбара, вот что неправильно. «Графиня». И «леди». Да она слегка не в себе, эта Фрэнсис Уэбберли, раз употребляет на публике все эти титулы! Хелен Линли никогда не пользовалась своим титулом. Ее муж был не только инспектором, но еще и графом, однако готов был в лепешку разбиться, лишь бы не упоминать этот факт. А леди Хильер, жена помощника комиссара сэра Дэвида Хильера (который тоже разбивался в лепешку, но уже ради того, чтобы все вокруг знали о его рыцарстве), была родной сестрой Фрэнсис Уэбберли. Фрэнсис целый вечер называла сестру «леди», словно хотела подчеркнуть для всех те различия между ними, которые иначе могли остаться незамеченными.

Все это весьма странно, думала Барбара. Очень любопытно. Очень... неправильно.

Она сочувствовала Хелен Линли. Слово «графиня» прочертило невидимую, но непреодолимую границу между Хелен и остальными гостями, и в результате она оказалась наедине со своим тортом. Ее муж ничего не замечал – как это типично для мужчин! – увлеченный разговором с двумя своими приятелями-инспекторами: Ангусом Макферсоном, который боролся с лишним весом, энергично уплетая порцию торта размером с обувную коробку, и Джоном

Стюартом – тот с упорством, достойным лучшего применения, выкладывал из крошек от уже съеденного куска торта британский флаг. На выручку Хелен пришлось отправляться Барбаре.

– Довольно ли ваше графство празднеством? – спросила она негромко, приблизившись к Хелен. – Все ли кланялись с должной почтительностью?

– Ведите себя прилично, Барбара, – с притворной строгостью нахмурилась Хелен, но тут же улыбнулась.

– Не могу. Я должна поддерживать свою репутацию. – Барбара приняла от Миранды порцию и с жадностью набросилась на торт. – Знаете, ваша стройность, – продолжила она, – вы должны хотя бы попытаться выглядеть толстой, как все мы. Вы никогда не пробовали надевать что-нибудь в горизонтальную полоску?

– Хм, стойте-ка, я как раз купила обои для гостевой комнаты, – задумчиво ответила Хелен. – Они в вертикальную полоску, но можно носить их боком.

– Вы обязаны сделать это ради своих подруг по половой принадлежности. Если хотя бы одна женщина поддерживает нормальный вес, остальные начинают казаться похожими на слоних.

– Боюсь, недолго мне осталось поддерживать этот вес, – заметила Хелен.

– Ну, я не стала бы заключать пари на...

Тут до Барбары дошло, на что намекает Хелен, и она с удивлением уставилась на собеседницу. А на лице Хелен заиграла несвойственная ей застенчивая полуулыбка.

– Вот те на! – воскликнула Барбара. – Хелен, вы в самом деле... Вы и инспектор? Черт. Да это просто здорово, Хелен! – Она посмотрела через комнату на Линли, который, склонив белокурую голову, слушал, что втолковывает ему Ангус Макферсон. – Инспектор ничего не говорил.

– Мы узнали всего пару дней назад. И пока еще никому не говорили. Нам кажется, так будет лучше.

– А-а. Понятно. Угу, – согласилась Барбара, не очень представляя себе, как относиться к тому, в чем призналась ей Хелен Линли. Внезапно ее окатила волна тепла, в горле образовался комок. – Черт! Надо же! Не волнуйтесь. Буду молчать, как мумия, пока не позволите мне говорить.

Они переглянулись и засмеялись.

В это время из кухни в столовую вдоль стены прокралась нанятая на вечер официантка с беспроводным телефоном в руке.

– Суперинтенданта просят к телефону, – объявила она извиняющимся тоном и добавила: – Прошу прощения.

Как будто действительно могла как-то воспрепятствовать этому.

– Должно быть, неприятности, – пророкотал Ангус Макферсон, и одновременно с ним Фрэнсис Уэбберли воскликнула:

– В такой час? Малькольм, силы небесные... Ты же не можешь...

Гости сочувственно загудели. Они все, из первых или из вторых рук, знали, что означал звонок посреди ночи. Знал это и Уэбберли. Он сказал:

– Ничего не попишешь, Фрэн, – и, прежде чем направиться в кабинет, похлопал жену по руке.

Инспектор Линли ничуть не удивился, когда суперинтендант извинился перед гостями и с телефоном в руке поднялся по лестнице на второй этаж. Удивило его другое: то, как долго отсутствовал его начальник. Прошло не менее двадцати минут; гости суперинтенданта успели доесть торт и допить кофе и начали поговаривать о том, что пора бы и честь знать. Фрэнсис Уэбберли, то и дело бросая отчаянные взгляды на лестницу, уговаривала всех задержаться еще немного. Не могут же они уйти прямо сейчас, убеждала она гостей, ведь Малькольм еще не

поблагодарил их за то, что они приняли участие в их семейном празднике. Не подождут ли они возвращения Малькольма?

Главный ее довод оставался невысказанным. Если бы гости стали расходиться до того, как ее муж закончил телефонный разговор, то элементарная вежливость принудила бы Фрэнсис выйти на крыльцо, чтобы проводить людей, почтивших своим присутствием ее юбилей. А коллегам Малькольма Уэбберли давно было известно, что Фрэнсис не выходила за пределы дома уже целое десятилетие.

– Агорафобия, – объяснил Уэбберли Томасу Линли в тот единственный раз, когда речь между ними зашла о Фрэнсис. – Началось все с мелочей, которых я попросту не замечал. К тому времени, когда ее состояние ухудшилось настолько, что привлекло наконец мое внимание, она целыми днями сидела в спальне. Завернувшись в одеяло, представляете? Господи, прости меня.

Какие только секреты не таятся за фасадом нормальной жизни, размышлял Линли, наблюдая за тем, как Фрэнсис перебегает от гостя к гостю. В ее веселости был некий ошутимый надрыв, в любезной улыбке сквозили решимость и страх. Рэнди хотела сделать родителям сюрприз и отпраздновать юбилей в местном ресторане, где больше места и где гости могли бы потанцевать. Но осуществить это было невозможно из-за состояния Фрэнсис. И поэтому вечеринка состоялась в обветшалом фамильном доме в Стамфорд-Брук.

Уэбберли появился на ступенях, когда гости уже засобирались по домам. На выходе их провожала Миранда, обнимающая мать за талию. Это был жест любящей дочери, и служил он двойной цели: подбадривал Фрэнсис и не давал ей сбежать от двери в глубину дома.

– Как, уже уходите? – пробасил Уэбберли, раскуривая на лестнице сигару и пуская под потолок синее облачко. – Вечер только начался.

– Вечер уже превратился в утро, – проинформировала его Лора Хильер и ласково погладила по щеке племянницу, прощаясь. – Чудесный праздник, Рэнди. Твои родители гордятся тобой.

Взяв мужа за руку, она вышла в ночь, где наконец-то прекратился ливень, весь вечер лупивший по окнам.

Отбытие помощника комиссара Хильера послужило сигналом для всех остальных. Гости начали расходиться, и Линли тоже собрался уходить. Он ждал, когда отыщут пальто его жены в одной из комнат второго этажа, когда к нему подошел Уэбберли и тихо проговорил:

– Задержись ненадолго, Томми.

При этом в лице суперинтенданта промелькнуло что-то такое, что заставило Линли без вопросов согласиться:

– Конечно.

Стоящая рядом с ним жена тут же обратилась к жене Уэбберли:

– Фрэнсис, ваши свадебные фотографии недалеко? Я не позволю Томми отвезти меня домой, пока не увижу вас в день вашей славы.

Линли бросил на Хелен благодарный взгляд. Через десять минут распрощались последние гости, и, пока Хелен занимала Фрэнсис Уэбберли, а Миранда помогала официантке убирать посуду, Линли и Уэбберли удалились в кабинет хозяина дома – тесную комнатку, едва вмещавшую стол, кресло и книжные полки.

Очевидно памятуя о здоровых привычках Линли, Уэбберли подошел к окну и приоткрыл его, чтобы немного проветрить кабинет от табачного дыма. В комнату поплыл холодный осенний воздух, тяжелый от влажности.

– Садись, Томми.

Сам Уэбберли остался стоять у окна, где тусклый свет лампы не в силах был рассеять тени на его лице.

Линли ждал, что скажет Уэбберли. Суперинтендант же задумчиво жевал нижнюю губу, словно нужные ему слова находились именно там и он хотел распробовать их на вкус, прежде чем выпустить на волю.

По улице с ревом проехала машина, где-то в доме стукнули двери, закрываясь. Эти звуки, казалось, пробудили Уэбберли. Он очнулся от своей задумчивости и сказал:

– Звонок был от полицейского по фамилии Лич. Раньше мы работали вместе. Я не видел его сто лет. Ужасно все-таки, что с годами связь теряется. Не знаю, почему так происходит, но... так происходит.

Линли понимал, что Уэбберли попросил его остаться не для того, чтобы поделиться с младшим офицером меланхоличными размышлениями о дружбе. Час сорок пять ночи – не время суток, когда хочется порассуждать о бывших приятелях. И тем не менее, желая дать Уэбберли возможность высказаться, Линли поинтересовался:

– Этот Лич, он все еще в полиции, сэр? Его имя мне незнакомо.

– Полиция Северо-Западного округа, – ответил Уэбберли. – Мы были напарниками двадцать лет назад.

– А-а. – Линли занялся несложными подсчетами. Значит, Уэбберли в то время было лет тридцать пять, то есть он говорит о времени, когда служил в Кенсингтоне. – Департамент уголовного розыска? – спросил он.

– Лич был моим сержантом. Сейчас он в Хэмпстеде, возглавляет отдел убийств. Старший инспектор Эрик Лич. Хороший человек. Очень хороший.

Линли внимательнее пригляделся к суперинтенданту: по лбу рассыпались тусклые редкие волосы соломенного цвета, природный румянец поблек, голова склонилась под таким углом, что становится ясно, сколь тяжелые рождаются в ней мысли. Судя по его виду, телефонный звонок принес дурные новости.

Уэбберли со вздохом расправил плечи, но не вышел из тени.

– Сейчас он работает над делом о наезде и побеге с места происшествия в Западном Хэмпстеде. И звонил как раз в связи с этим делом, Томми. Наезд имел место сегодня вечером, около десяти-одиннадцати часов. Жертва – женщина.

Уэбберли замолчал, словно давая Линли возможность как-то отреагировать на услышанное. Однако Линли только кивнул. К сожалению, наезды с последующим побегом с места происшествия случались в Лондоне с удручающей частотой, поскольку иностранцы-водители иногда забывали, по какой стороне дороги нужно ехать, а иностранцы-пешеходы – в какую сторону надо смотреть при переходе дороги. Уэбберли несколько секунд изучал кончик сигары, потом прокашлялся.

– На данный момент все говорит о том, что кто-то сбил женщину, а потом еще раз намеренно переехал ее. После чего преступник вышел из машины, оттащил труп в сторону и поехал дальше.

– Господи! – покачал головой Линли.

– Рядом с местом происшествия обнаружена сумочка, принадлежавшая жертве. В ней были ключи от машины и документы. Сама машина тоже стояла неподалеку на той же улице. Внутри, на пассажирском сиденье, лежала карта Лондона и нарисованная от руки схема проезда к улице, где женщина и была сбита. Там был указан и адрес – дом тридцать два на Кредитон-хилл.

– Кто там живет?

– Парень, нашедший ее. Тот самый, который случайно проезжал мимо примерно через час после того, как ее сбили.

– Он ожидал, что она пойдет к нему? Они договаривались о встрече?

– Этого мы не знаем, но пока нам вообще мало что известно. Лич говорит, этот подлец словно луковицу проглотил, когда услышал, что в машине у женщины имелся его адрес. Он сказал только, что это невозможно, и вызвал своего адвоката.

На это он, разумеется, имел полное право. Хотя такая реакция человека на сообщение о том, что жертва преступления знала его адрес, не может не вызвать подозрения.

Однако ни этот наезд с последующим бегством с места происшествия, ни странные обстоятельства, при которых его обнаружили, не объясняли Линли того, зачем старший инспектор Лич позвонил Уэбберли в час ночи. А также оставалось неясным, зачем Уэбберли рассказывал об этом звонке ему, Линли.

Поэтому Линли спросил:

– Сэр, у старшего инспектора Лича возникли проблемы с этим делом? Или что-то случилось в отделе убийств в Хэмпстеде?

– Почему он позвонил мне, ты хочешь спросить? И что еще более важно, зачем я тебе все это рассказываю? – Уэбберли не стал дожидаться ответа. Он сел за стол и сказал: – Дело в жертве, Томми. Это Юджиния Дэвис. И я хочу, чтобы ты взялся за это дело. Я хочу, чтобы ты перевернул землю, небо и ад, если понадобится, но докопался до того, что стоит за ее убийством. Лич понял, что я захочу этого, как только увидел, кто она такая.

Линли нахмурился:

– Юджиния Дэвис? И кто же она такая?

– Сколько тебе лет, Томми?

– Тридцать семь, сэр.

Уэбберли шумно выдохнул:

– Тогда, я полагаю, ты слишком молод, чтобы помнить эту историю.

Гидеон

23 августа

Мне не понравилось то, как вы задали этот вопрос, доктор Роуз. Я обижен и вашим тоном, и скрытым смыслом вопроса. Не пытайтесь убедить меня, будто никакого скрытого смысла в нем не было, – я не настолько глуп. И не надо этих намеков на то, что «на самом деле» стоит за толкованием пациентом слов его психиатра. Я знаю, что я слышал, я знаю, что произошло, и я могу суммировать и то и другое в одном предложении: вы прочитали написанное, увидели в рассказе упущение и набросились на него, как адвокат по уголовным делам с умом настолько ограниченным, что от него вовсе никакого толку.

Позвольте повторить сказанное мною во время последнего нашего сеанса: я не упоминал о моей матери до последнего предложения потому, что пытался выполнить данное вами задание, которое состояло в записывании того, что я помню, и поэтому писал то, что приходило мне на ум. Она мне на ум не приходила – до тех самых пор, пока моим учителем и компаньоном не стал Рафаэль Робсон.

«Однако итало-греко-португало-испанская девушка пришла вам на ум?» – спрашиваете вы своим невыносимо спокойным, тихим, ровным голосом.

Да, пришла. И что вы хотите этим сказать? Что я обладаю ранее необнаруженной склонностью к португало-испано-итало-греческим девицам, которая обусловлена моим непоплатенным долгом перед безымянной девушкой, которая, сама того не зная, вывела меня на тропу успеха? Так, доктор Роуз?

А, понимаю. Вы не отвечаете. Вы находитесь на безопасном расстоянии, сидя в кресле своего отца, и смотрите на меня своим задушевым взглядом, так что я вынужден трактовать это расстояние как пролив Босфор, готовый принять меня в свою синеву. Ваш взгляд предлагает мне нырнуть в воды правдивости. Как будто я говорю неправду.

Она там была. Конечно, она там была, моя мать. И если я упоминал итальянскую девушку вместо матери, то только потому, что итальянка – господи боже, ну почему я не помню ее имя? – присутствовала в легенде Гидеона, а моя мать – нет. Мне показалось, вы просили меня писать то, что я помню, начиная с самого раннего моего воспоминания. Если же вы просили меня сделать не это, если вы хотели, чтобы я сфабриковал характерные детали детства, которые по сути своей выдумка, но при этом тщательно разжеваны и обеззаражены таким образом, чтобы вы могли найти и идентифицировать в них то, что вы сочтете...

О да, я действительно злюсь, можете не указывать мне на это. Потому что я не понимаю, какое отношение имеет моя мать, анализ моей матери и даже поверхностный разговор о ней к тому, что случилось в Уигмор-холле. А ведь именно из-за этого я к вам пришел, доктор Роуз. Давайте не будем забывать о причине. Я согласился на этот процесс, потому что там, на сцене Уигмор-холла, перед аудиторией, передавшей немалые средства в пользу Восточной Лондонской консерватории – основанной на мои пожертвования, позволю себе напомнить, – я взошел на помост, положил скрипку на плечо, взял смычок, как обычно размял пальцы левой руки, кивнул пианисту и виолончелисту... и не смог играть.

Это не страх сцены, доктор Роуз. Это не временный блок в отношении конкретного музыкального произведения, которое, кстати, я репетировал две недели перед концертом. Нет, это полная, мгновенная и унижительная потеря способности играть. Из моего мозга была с корнем вырвана не только сама музыка – я совершенно забыл и как играть на скрипке. Я чувствую себя так, будто ни разу в жизни не держал в руках инструмент, а уж про двадцать пять лет концертной деятельности и говорить не приходится.

Шеррилл начал Аллегро, и я слушал его без малейшего узнавания. А когда я должен был присоединиться к фортепиано и виолончели, то не знал ни как это сделать, ни в какой момент.

Я превратился в сына Лота, как если бы именно он, а не жена этого праведника оглянулся посмотреть на разрушенный город.

Шеррилл пытался прикрыть меня. Он хитрил. Он – подумать только! – импровизировал с Бетховеном! Он сумел снова выйти к месту, где должен был вступить я. И снова – ничего. Только тишина, как вакуум, тишина, ураганом разрывающая мозг.

Я покинул помост, ничего не видя, весь дрожа. В Зеленой комнате меня встретил отец криком: «Что? Гидеон, ради бога, что?» За его спиной маячил Рафаэль.

Перед тем как упасть, я успел сунуть скрипку в руки Рафаэлю. Вокруг меня все поплыло, из хоровода взволнованных восклицаний вырвался голос отца: «Это все та чертова девица, да? Это из-за нее. Проклятье! Возьми себя в руки, Гидеон. У тебя есть обязательства перед людьми».

Шеррилл, покинувший сцену вслед за мной, вопрошал: «Гид, что с тобой? Потерял уверенность? Черт. Такое случается».

А Рафаэль, кладя мою скрипку на стол, сказал: «О боже! Я ведь боялся, что такое может случиться». Как большинство людей, он думал о себе, о своих собственных проваленных концертах, о своей неспособности выступать, как выступали его отец и дед. Каждый член его семьи достиг головокружительной карьеры в концертной деятельности, за исключением бедного потного Рафаэля, и, полагаю, в глубине души он все время ждал, когда катастрофа случится и со мной, сделав нас братьями по несчастью. Он был одним из тех, кто предупреждал об опасностях слишком быстрого подъема, который произошел в моей карьере после первого публичного выступления в семилетнем возрасте. Очевидно, он считал, что теперь я пожинаю плоды стремительного восхождения к славе.

Но отнюдь не потерю уверенности я чувствовал в Зеленой комнате, доктор Роуз. И не потерю уверенности я чувствовал перед публикой, сидящей в концертном зале Уигмор-холла. Скорее я ощутил это как отключение, бесповоротное и окончательное. И вот еще что странно: хотя я совершенно отчетливо слышал все эти голоса – моего отца, Рафаэля, Шеррилла, – но видел я тогда только яркий белый свет и синюю-синюю дверь.

Может, у меня «эпизод», доктор Роуз? Такой, какими страдал мой дедушка и от какого легко излечит небольшая поездка за город? Прошу вас, скажите мне, потому что музыка – это не то, что я делаю, это то, что я *есть*, и если у меня ее не будет – не будет звука и его высокого благородства, – то я перестану существовать, останется лишь пустая скорлупа!

Так есть ли скрытый смысл в том, что, вспоминая о своем знакомстве с музыкой, я ни слова не сказал о матери? Это было умолчание звука и гнева, и с вашей стороны будет разумно, если вы придадите этому факту соответствующее значение.

«Но дальнейшее молчание о ней будет уже преднамеренным, – говорите вы мне. И просите: – Расскажите мне о своей матери, Гидеон».

25 августа

Она пошла работать. Первые четыре года моей жизни она постоянно была со мной, но, когда стало очевидным, что ее ребенок обладает исключительным талантом, который необходимо развивать, то есть вкладывать в него не только время, но и огромные средства, она нашла работу, чтобы помочь добывать деньги. Присматривать за мной стала бабушка – в те краткие периоды, когда я не упражнялся в игре на скрипке, не занимался с Рафаэлем, не слушал музыкальные записи, которые он приносил мне, или не ходил с ним на концерты. Но жизнь моя столь значительно изменилась после того дня, когда я услышал музыку на Кенсингтон-сквер, что я практически не заметил отсутствия матери. До этого, я помню, мы часто – почти каждый день – вместе ходили на утреннюю мессу.

Она завела дружбу с монахиней монастыря, стоявшего на Кенсингтон-сквер, и между собой они договорились, что моя мать может посещать ежедневную службу для сестер. Моя

мать была новообращенной католичкой. Ее отец был англиканским священником, и в принципе у меня есть свои соображения относительно того, насколько ее переход в иную веру был связан с привлекательностью иных догм, а насколько – с протестом против деспотичного отца. У меня сложилось впечатление, что он был не самым приятным человеком. А вообще я плохо помню его.

Мать я, конечно, помню, но для меня она давно стала смутной фигурой, так как ушла от нас. Когда мне было лет девять или десять, не помню точно, я вернулся домой после концертного тура по Австрии и обнаружил, что мать покинула дом на Кенсингтон-сквер, не оставив после себя ни следа. Она забрала с собой всю принадлежавшую ей одежду, все свои книги и часть семейных фотографий. И исчезла, как пресловутый тать в ночи. За тем исключением, что случилось это днем и она вызвала такси. Ни записки, ни адреса она не оставила, и больше я никогда не видел и не слышал ее.

Отец ездил со мной в Австрию – папа всегда путешествовал со мной, и часто к нам присоединялся Рафаэль, – и поэтому знал не более меня, куда ушла мать и почему она это сделала. Да, и, вернувшись домой, мы застали дедушку посреди очередного «эпизода», бабушка плакала, сидя на лестнице, а жилец Кальвин пытался найти нужный телефонный номер.

«Жилец Кальвин? – переспрашиваете вы. – А предыдущий жилец – кажется, вы говорили, что его звали Джеймс, – его уже не было с вами?»

Наверное, он съехал годом ранее. Или двумя. Я не помню. У нас было несколько разных жильцов. Как я уже говорил нам приходилось сдавать комнаты, чтобы сводить концы с концами.

«Вы помните их всех?» – хотите вы знать.

Нет, не всех. Видимо, только тех, кто связан с ключевыми событиями. Кальвина я помню потому, что он присутствовал в тот день, когда я узнал об уходе матери. А Джеймса – потому что при нем все началось.

«Все?» – спрашиваете вы.

Да. Скрипка. Уроки. Мисс Опп. Все.

26 августа

Каждый человек у меня ассоциируется с определенной мелодией. Когда я думаю о Розмари Опп, то вспоминаю Брамса, тот концерт, который звучал в первую нашу встречу с ней. Когда я думаю о Рафаэле, то это Мендельсон. Папа – Бах, скрипичная соната соль минор. А дедушка навсегда останется Паганини. Больше всего он любил Двадцать четвертый каприс. «Ах, какие звуки, – восхищался он. – Эти совершенные звуки».

«А ваша мать? – спрашиваете вы. – С каким музыкальным произведением ассоциировалась она?»

Интересно. С матерью в отличие от других людей я не могу связать ни одно произведение. Даже не знаю почему. Вероятно, это такая разновидность отрицания? Подавление эмоций? Не знаю. Вы психиатр. Вот вы и объясните мне, в чем тут дело.

Кстати, я до сих пор это делаю – ассоциирую людей с музыкой. Например, Шеррилл – это рапсодия Бартока, которую мы с ним играли, когда впервые выступали вместе много лет назад. С тех пор мы больше ни разу не исполняли ее, а тогда мы были еще подростками – американский и европейский вундеркинды вместе собирали отличную прессу, поверьте, – но для меня он всегда будет Бартоком, стоит мне только подумать о нем. Так устроен мой мозг.

И то же самое происходит с теми, кто не имеет к музыке никакого отношения. Возьмем, к примеру, Либби. Я рассказывал вам о Либби? Она – жиличка Либби. Да, такой же жилец, как Джеймс, Кальвин и все остальные, только она принадлежит настоящему, а не прошлому и живет в квартире на нижнем этаже моего дома на Чалкот-сквер.

У меня не было намерения сдавать эту квартиру, пока однажды она не появилась у моих дверей с контрактом на запись, который мой агент хотел немедленно получить обратно с моей подписью. Либби работает в курьерской службе, и я понял, что она девушка, только когда она вручила мне контракт, сняла шлем и сказала, кивком указывая на документы: «Только не возись с этим слишком долго. И я умираю от любопытства: ты что, рок-музыкант или еще кто?» – в той фамильярной манере, которая, похоже, свойственна всем выходцам из Калифорнии.

Я ответил: «Нет, я скрипач».

Она сказала: «Ни фиги!»

Я сказал: «Фига».

В ответ она уставилась на меня с выражением полного непонимания, и я решил, что имею дело с клинической идиоткой.

Я никогда не подпишу ни один контракт, не изучив его от начала до конца (и пусть агент обвиняет меня в недоверии его мудрости и опыту). Чтобы не заставлять бедную сиротку – а она мне показалась именно сироткой – стоять на крыльце, пока я читаю бумаги, я пригласил ее в дом, и мы вместе прошли на второй этаж, где находится музыкальная комната, выходящая на площадь.

Она сказала: «О, вау. Извиняюсь. А ты настоящая знаменитость, как я погляжу», – потому что, поднимаясь по лестнице, обратила внимание на макеты оформления компакт-дисков, висящие на стене. «Я чувствую себя полной дурой».

«Не стоит», – сказал я и вошел в музыкальную комнату, уже углубившись в параграфы об аккомпаниаторах, гонорарах и графиках. Она следовала за мной.

«О, круто, – пропела она, когда я уселся в кресло у окна, сидя в котором сейчас пишу для вас свои воспоминания, доктор Роуз. – Кто это с тобой вон на той фотке? Тот тип с костылями? Тью, а ты-то! Лет семи будешь, не старше».

Господи! Это, пожалуй, величайший скрипач в мире, а девчонка необразованна, как тубик зубной пасты! «Ицхак Перлман, – сказал я ей. – И мне тогда было не семь лет, а шесть».

«Ничего себе! Так ты прямо играл с ним, когда тебе было всего шесть?»

«Не совсем. Он был настолько любезен, что согласился послушать меня, когда был в Лондоне».

«Супер!»

И пока я читал, она бродила по комнате и перебирала свой небогатый запас восклицаний. Особое удовольствие, как мне показалось, ей доставило изучение моей первой скрипки, той самой одной шестнадцатой, которую я держу в музыкальной комнате на небольшой подставке. Там же хранится и Гварнери – инструмент, на котором я сейчас играю. Он тогда лежал в футляре, но футляр был открыт, потому что Либби, приехав с договорами, застала меня посреди утренней репетиции. Очевидно не понимая, какое кощунство совершает, Либби нагнулась и подцепила пальцем струну «ми».

Выстрели она из револьвера, я пришел бы в не меньший ужас. Я вскочил и обрушился на нее: «Не смей прикасаться к этой скрипке!» Либби так испугалась, что отреагировала как ребенок, которого ударили. Она прошептала: «Мамочки!» – и попятилась от инструмента, отдернув руки за спину; ее глаза наполнились слезами, от смущения она повернулась к стене.

Я отложил документы и сказал: «Послушай... Ну извини. Я не хотел быть такой свиньей, но этому инструменту двести пятьдесят лет. Я сам обращаюсь с ним очень осторожно и обычно не позволяю...»

Стоя ко мне спиной, она махнула рукой. Сделала несколько глубоких вдохов, потом замотала головой, отчего волосы выбились из стягивающей их ленты (я упоминал, что у нее кудрявые волосы, цвета поджаренной булки и очень кудрявые?), и вытерла слезы кулаком. Потом она обернулась и сказала: «Извиняюсь. Все в порядке. Не надо было трогать твою скрипку. Я

не подумала. Ты прав, что накричал на меня, правда. Просто на миг ты стал ну чистый Рок, вот и я психанула».

Язык другой планеты. Я повторил непонимающе: «Чистый рок?»

Она пояснила: «Рок Питерс. Ранее известный как Рокко Петрочелли и в настоящее время мой муж. Только мы больше не живем вместе. То есть живем-то мы в одном месте, потому что бабки у него, а он не очень-то намерен давать их мне, чтобы я могла устроиться самостоятельно».

Я подумал, что она слишком юна, чтобы быть замужем, но выяснилось, что, несмотря на ее непосредственность и то, что я счел весьма милой предпубертатной пухлостью, ей исполнилось двадцать три года и она уже два года была замужем за вспыльчивым Роком. В тот момент, однако, я сказал лишь: «А-а».

Она продолжала рассказывать: «У него, типа, характер как порох, и, кроме всего прочего, например, он совершенно не понимает, что брак обычно подразумевает моногамию. Угадать, когда ему под хвост шлея попадет, невозможно. Я два года бегала от него по квартире и теперь решила, что хватит».

«О-о. Сочувствую». Признаюсь, мне было неловко выслушивать подробности ее личной жизни. Не то чтобы я непривычен к подобным излияниям. Эта манера открывать душу посторонним людям, по-моему, характерна для всех американцев, которых я встречал. Не знаю, может, ее воспитывают в них с детства, вместе с любовью к американскому флагу? И все-таки быть привычным к чему-либо не означает хотеть этого. Да и вообще я не совсем представлял себе, что мне делать со всеми этими сведениями, не имеющими ко мне никакого отношения.

И тем не менее Либби вывалила на меня еще целый ворох сугубо личной информации. Она хотела развестись, но он не хотел. Они продолжали жить под одной крышей, потому что она не могла скопить достаточно денег, чтобы снять себе отдельное жилье.

Как только набиралась почти нужная сумма, Рок просто переставал выдавать Либби зарплату, и ей приходилось тратить свою заначку. «А зачем я ему нужна – это, типа, главная загадка моей жизни, понимаешь? В смысле, мужик полностью во власти стадного инстинкта, и что ему от меня надо?»

Как она объяснила мне, Рок был бабником высшей пробы и придерживался той философии, что группа самок – «стадо, сечешь?» – должна подчиняться одному самцу и обслуживаться им же. «Проблема в том, что в его представлении группа самок – это все женщины Земли. И его долг – трахнуть каждую из них, чтобы всем было хорошо». Тут она хлопнула себя ладонью по губам: «Ой, извиняюсь» – и ухмыльнулась. А потом сказала: «Черт, да что со мной такое! У меня же рот не закрывается! Ты подписал свои бумаги?»

Я их не подписал. Разве мне дали возможность ознакомиться с ними? Я сказал, что пишу, только ей придется немного подождать. Она села в уголке.

Я прочитал договор, позвонил по телефону, уточняя некоторые вопросы, подписал, где надо, и отдал Либби. Она сунула бумаги в рюкзак, сказала спасибо, а потом наклонила голову набок и вопросительно взглянула на меня: «Одна просьба...»

«Какая?»

Либби переступила с ноги на ногу, явно смущаясь. Но тем не менее решилась, и я восхитился ее мужеством. Она сказала: «А ты бы... То есть, это, я раньше никогда не слышала, как играют на скрипке живьем. Сыграй для меня какую-нибудь песню, пожалуйста».

Она так и сказала: песню. Полное невежество. Но даже невежду можно чему-нибудь научить, и она ведь вежливо попросила. К тому же мне совсем нетрудно было это сделать. Все равно я репетировал, работал над сольной сонатой Бартока, поэтому исполнил для нее часть *Melodia*, играя так, как играю всегда: целиком отдаваясь музыке, ставя ее выше себя, выше присутствующих, превыше всего. К концу этой части я уже напрочь забыл о Либби и перешел к

Presto, слыша в уме слова Рафаэля: «Представь, что Presto – это приглашение на танец, Гидеон. Почувствуй его легкость. Пусть оно все переливается и сверкает».

И когда я закончил, то не сразу понял, кто это стоит передо мной. Она проговорила: «О, вау. О, вау. О, вау. Слушай, да ты просто супер!»

Видимо, в какой-то момент моего исполнения она начала плакать, потому что щеки у нее были мокрыми и она копалась в карманах своей кожанки в поисках платка, чтобы вытереть хлюпающий нос. Мне было приятно осознавать, что Барток тронул ее, и еще более лестным стало подтверждение того, что моя оценка ее способности к обучению верна. И должно быть, поэтому я предложил ей присоединиться ко мне за чашкой кофе, который я обычно пью в это время дня. День был ясный, и мы вышли с чашками в сад, где в увитой зеленью беседке лежал недоделанный мною воздушный змей.

Я уже говорил вам о моих воздушных змеях, доктор Роуз? В общем, говорить тут почти нечего. Просто иногда я испытываю потребность отвлечься от музыки и заняться чем-то другим. Тогда я делаю воздушных змеев и запускаю их с Примроуз-хилл.

Ах да. Я уже вижу, как вы ищете в этом скрытый смысл. Что символизирует создание и запуск воздушных змеев в истории пациента и его сегодняшней жизни? Наши действия продиктованы подсознанием. Сознанию всего лишь остается уловить значение этих действий и придать ему вразумительную форму.

Воздушные змеи. Воздух. Свобода. Но свобода от чего? От чего мне нужно освободиться, ведь моя жизнь наполнена, богата и интересна?

Я считаю, что совсем необязательно и даже опасно искать значение где-то глубоко. Иногда все объясняется просто: когда мой талант проявил себя, мне, совсем еще ребенку, запретили заниматься всем, что может повредить мои руки. А придумывать и клеить воздушных змеев – здесь с моими руками ничего не могло случиться.

«Но вы ведь не станете отрицать значимость деятельности, связанной с небом, Гидеон?» – спрашиваете вы.

Я вижу только, что небо синее. Синее, как та дверь. Как та синяя-синяя дверь.

Гидеон

28 августа

Я сделал так, как вы предложили, доктор Роуз, и мне нечего вам сказать, кроме того, что чувствую я себя полнейшим идиотом. Вероятно, эксперимент имел бы иные результаты, если бы я согласился провести его в вашем кабинете, но я не мог сосредоточиться на том, что вы говорили, и в тот момент мне все это казалось абсурдом. Еще большим абсурдом, чем часы, потраченные на писанину в этой тетради, которые я мог бы провести, занимаясь на своем инструменте, как раньше.

Но я так и не прикоснулся к нему.

«Почему?»

Не спрашивайте об очевидном, доктор Роуз. Она ушла. Музыка ушла.

Утром заходил папа. Он заглянул, чтобы узнать, не стало ли мне лучше (читайте: «не пробовал ли я играть», но он пощадил меня, не задав вопрос напрямую). Хотя никакой нужды спрашивать не было, потому что Гварнери лежал там, где он оставил его, когда привел меня домой после происшествия в Уигмор-холле. Мне не хватило духу даже на то, чтобы прикоснуться к футляру.

«Почему?» – опять спрашиваете вы.

Вы знаете ответ. Потому что сейчас мне не хватает смелости: если я не могу играть, если дар, слух, талант, гений – называйте как хотите – умер или совершенно покинул меня, то как мне жить? Не что мне делать дальше, доктор Роуз, а как жить? Как жить, если суть и содержание того, чем я являюсь и чем был на протяжении двадцати пяти последних лет, целиком определялось музыкой?

«Тогда давайте обратимся к самой музыке, – говорите вы. – Если каждый человек в вашей жизни каким-то образом ассоциируется с музыкой, возможно, нам следует более внимательно изучить вашу музыку, чтобы отыскать в ней ключ к тому, что вас беспокоит».

Я смеюсь и говорю: «Это что, каламбур? Вы намекаете на скрипичный ключ?»

Но вы смотрите на меня своим пронизывающим взором, отказываясь принять мой легкомысленный тон. Вы говорите: «Значит, то произведение Бартока, о котором вы писали, та скрипичная соната... С ней вы ассоциируете Либби?»

Да, эта соната ассоциируется у меня с Либби. Но Либби не имеет никакого отношения к моей проблеме, уверяю вас.

Кстати, отец нашел эту тетрадь. Когда он заходил проверить, как мои дела, он нашел ее на столе у окна. И прежде чем вы спросите, хочу сразу сказать: он ничего специально не высматривал. Может, он и неисправимо узколобый сукин сын, но не шпион. Просто последние двадцать пять лет жизни он отдал поддержанию карьеры своего единственного ребенка, и ему не хотелось бы видеть, как эта карьера окажется выброшенной на свалку.

Хотя недолго мне оставаться его единственным ребенком. Я совсем забыл об этом в связи с... вы знаете в связи с чем. Ведь есть же еще и Джил. Мне трудно представить, что в моем возрасте у меня появится брат или сестра, я уж не говорю о мачехе, которая старше меня едва ли на десяток лет. Но сейчас настала эпоха эластичных семей, и здравый смысл подсказывает, что человеку приходится растягивать свои понятия в соответствии с меняющимися определениями супругов, родителей, а также братьев и сестер.

И все-таки мне кажется немного странной вся эта история с отцом и его новой семьей. Не то чтобы я рассчитывал, что он навсегда останется разведенным одиноким мужчиной. Просто после двух десятилетий, за которые он ни разу, насколько мне известно, не был на свидании с женщиной и уж тем более не заводил никаких более тесных отношений, связанных с той

разновидностью физической близости, после которой появляются дети, для меня это стало некоторым шоком.

Я познакомился с Джил на Би-би-си, когда пришел просмотреть первый вариант документального телефильма, снятого о Восточной Лондонской консерватории. Было это несколько лет назад, перед тем как она сняла ту потрясающую экранизацию «Отчаянных средств» (кстати, вы не смотрели ее, доктор Роуз? Джил оказалась большой поклонницей Томаса Харди). А тогда она работала в отделе документальных фильмов или как это у них называется. Должно быть, папа встретил ее примерно в то же время, однако я не припомню, чтобы видел их вместе, и не могу сказать, были они уже любовниками или нет. Что я помню, так это один ужин у отца, на который он меня пригласил. Я вошел в дом и увидел на кухне Джил, она там вовсю хозяйничала, и хотя я был весьма удивлен ее присутствием, но объяснил его себе тем, что ей нужно было занести отцу окончательную версию фильма, чтобы мы взглянули на нее еще раз. Полагаю, это и было началом их отношений. После этого вечера папа стал уделять мне чуть меньше времени, чем раньше, теперь я вижу это. Так что да, должно быть, тогда все и началось. Но поскольку Джил с отцом не жили вместе – хотя папа говорит, что после рождения ребенка они съедутся, – у меня не было никаких оснований предполагать, что между ними что-то есть.

«А теперь, когда вы знаете? – спрашиваете вы. – Что вы чувствуете? И когда вы узнали о них и о будущем малыше? И где?»

Я вижу, к чему вы клоните. Но должен предупредить вас, что это тупиковая ветка.

О планах отца связать дальнейшую жизнь с Джил я узнал несколько месяцев назад. Нет, не в день концерта в Уигмор-холле и даже не в ту самую неделю и не в тот самый месяц. И когда мне объявили о скором появлении у меня брата или сестры, нигде поблизости не было никакой синей двери. Вот видите, я знал, куда вы ведете, верно?

«Но что вы чувствуете в этой связи? – настаиваете вы. – Вторая семья вашего отца после всех этих лет...»

Это не вторая его семья, поправляю я вас, а третья.

«Третья?» Вы просматриваете записи, которые ведете во время наших с вами сеансов, и не находите упоминаний о более ранней семье, до моего рождения. Тем не менее она была, и в той семье был ребенок, девочка, которая умерла в младенчестве.

Ее звали Вирджиния, и я не знаю точно, как она умерла или где, и не знаю, через сколько времени отец решил развестись с ее матерью и кем была та женщина. О существовании у меня сестры и вообще о первой семье отца я узнал случайно – когда дедушка начал бушевать во время одного из своих «эпизодов». Его крики и проклятия, как обычно, сводились к ключевой фразе «Ты мне не сын», только в тот раз он добавил еще, что папа ему не сын, потому что он производит одних только выроdkов. Должно быть, мне поспешили дать кое-какие объяснения (мать? или кто-то еще?), так как, услышав о выроdkах, я решил, что дедушка имеет в виду меня. Поэтому я делаю вывод, что Вирджиния умерла от какой-то болезни, вероятно наследственной. Но от какой именно, я не знаю: человек, рассказавший мне о Вирджинии, либо сам этого не знал, либо не сказал мне, а впоследствии эта тема при мне больше никогда не поднималась.

«Больше никогда не поднималась?» – повторяете вы за мной.

Вы же знаете, как это бывает, доктор. Дети не любят говорить о том, что у них ассоциируется с хаосом, смятением и ссорами. Они довольно рано усваивают, что лучше не дергать за хвост спящую собаку. И смею предположить, что вы в силах сделать дальнейшие умозаключения самостоятельно: поскольку центром моего мироздания была скрипка, то, получив уверения в добром отношении ко мне деда, я выбросил услышанное из головы.

Но вот синяя дверь – это нечто совершенно иное. Как я уже говорил в самом начале, я сделал так, как вы меня просили, и повторил то, что пытался проделать в вашем кабинете. Я мысленно нарисовал эту дверь цвета берлинской лазури: серебристое кольцо примерно посре-

дине, которое служит в качестве ручки; два замка, сделанные, кажется, из того же серебристого металла, что и кольцо; и, вероятно, номер дома или квартиры вверху.

Я задернул в спальне занавески и растянулся на кровати, закрыл глаза и представил дверь; я представил, как подхожу к ней; я увидел, как моя рука берется за кольцо, служащее ручкой, как мои пальцы вставляют ключи в замки: сначала я вставляю в нижний замок большой старомодный ключ с крупными, простыми для подделки зубцами, потом открываю верхний замок, более современный и надежный. Когда оба замка открыты, я опираюсь плечом о дверь, толкаю и... ничего. Абсолютно ничего.

Там ничего нет, доктор Роуз, как вы не видите? Мой мозг пуст. Вы бы хотели интерпретировать то, что я найду за дверью, или то, какого она цвета, или тот факт, что она закрыта на два замка, а не на один, что там кольцо, а не ручка – может, он бежит от обязательств или отношений, спрашиваете вы себя, – а я тем временем, вдохновленный данным упражнением, начинаю выворачивать перед вами душу. Нет, ничего мне не открылось. Ничто не пряталось за той дверью. Она не ведет ни в одну комнату, которую я мог бы вообразить, она просто стоит наверху лестницы как...

«Лестница, – хватаетесь вы за слово. – Значит, там была лестница».

Да, лестница, которая, как мы оба знаем, знаменует собой восхождение, подъем, вылезание, выползание из ямы... Ну и что?

Вы видите по моим каракулям, что я возбужден. Вы говорите: «Не прячьтесь от своего страха. Он не убьет вас, Гидеон. Чувства не убивают. И вы не одиноки».

«Я никогда так не думал, – говорю я вам. – Не надо говорить за меня, доктор Роуз».

2 сентября

Приходила Либби. Она знает, что со мной не все в порядке, потому что не слышала скрипки несколько недель, тогда как раньше скрипка звучала в доме часами ежедневно. В принципе, именно из-за этого я не стал сдавать квартиру на первом этаже, когда она освободилась. Я имел в виду возможность аренды, когда покупал дом на Чалкот-стрит, но мне не захотелось отвлекаться на передвижения арендатора: вот он пришел, вот ушел, пусть и через отдельный вход, – а еще я не желал ограничивать часы своих занятий соображениями о приличиях. Обо всем этом я рассказал Либби в первый же день, когда она уже уходила. На крыльце она застегнула кожанку, надела на голову шлем и нечаянно заметила пустующие помещения за решетками из кованого железа. Она сказала: «Вау. Это сдается или как?»

И я объяснил ей, почему в квартире никто не живет. «Когда я только въехал сюда после покупки дома, на первом этаже жила молодая пара, – сказал я. – Но поскольку они так и не смогли полюбить музыку настолько, чтобы наслаждаться ею в любое время суток, то вскоре сменили место жительства».

Она наклонила голову и сказала: «Эй, тебе сколько лет, а? И ты что, всегда говоришь так, будто тебе в задницу бутылку засунули? Когда ты показывал мне воздушного змея, то все было нормально. А сейчас что с тобой случилось? Это имеет какое-то отношение к тому, что ты англичанин? Вышел из дому, и раз – вот ты уже и не ты совсем, а Генри Джеймс?»

«Он не был англичанином», – сообщил я.

«Хм. Жаль. – Она начала затягивать ремешок шлема, но у нее не получалось, как будто она была чем-то расстроена. – Школу я закончила только благодаря шпаргалкам, приятель, так что не отличила бы Генри Джеймса от Сида Вишеса⁷. Вообще не знаю, чего я про него вспомнила. Как и про Сида Вишеса, если на то пошло».

«А кто такой Сид Вишес?» – спросил я с серьезным видом.

Она уставилась на меня. «Брось. Ты шутишь».

⁷ Сид Вишес – бас-гитарист группы «Sex Pistols».

«Шучу», – признался я.

И тогда она засмеялась. Даже не засмеялась, а захохотала. Схватила меня за руку и сказала: «Ты! Ну ты даешь!» – и был этот жест до такой степени фамильярным, что я был одновременно и потрясен, и очарован. Поэтому я предложил показать ей пустующую квартиру.

«Почему?» – спрашиваете вы.

Потому что она попросила меня об этом, и потому что я хотел показать ей, и еще потому что, наверное, мне захотелось некоторое время побыть в ее обществе. В ней не было ни капли английского.

Вы говорите: «Я имела в виду не причины, по которым вы показали ей квартиру, а причины, по которым вы рассказываете мне о Либби».

Потому что она только что приходила сюда.

«Значит, для вас она имеет значение?»

Не знаю.

3 сентября

«На самом деле я Либерти, – говорит она мне. – Господи, хуже имени просто не бывает, правда? Мои родители были хиппи до того, как стали яппи, то есть задолго до того, как папа срубил миллион баксов в Силиконовой долине. Ты ведь слышал про Силиконовую долину? Или нет?»

Мы спускаемся с вершины Примроуз-хилл. Я несущу один из своих воздушных змеев. Это было несколько месяцев назад. Либби уговорила меня пойти позапускать змеев. По-хорошему мне надо бы репетировать, потому что через три недели я записываю Паганини – Второй скрипичный концерт, если быть точным, – с Филармоническим оркестром, но *Allegro maestoso* мне все еще не дается. Однако Либби вернулась после очередного столкновения со своим брюзгливым Роком из-за зарплаты, которую он опять ей не платит. Она передала мне его слова в ответ на ее требование дать денег: «Проветри мозги, сучка». И она решила поймать его на слове, а заодно и вывести на прогулку меня, поскольку, как она сказала, я слишком много работаю.

В тот день я действительно проработал шесть часов в два приема по три часа с перерывом на прогулку по Риджентс-парку в полдень, поэтому согласился. Я позволил Либби выбрать воздушного змея, и ей понравился многоуровневый экземпляр, который вращается в полете, но требует строго определенной скорости ветра, чтобы показать все, на что способен.

Мы пускаемся в путь. Мы идем по дуге Чалкот-кресент. «И тут налепили пряничных домиков», – кисло отмечает Либби. Ей, по-видимому, больше нравится Лондон стареющий, чем Лондон возрождающийся. Затем мы переходим Риджентс-Парк-роуд и оттуда углубляемся в парк, где находим тропу, ведущую на вершину холма.

«Слишком ветрено, – говорю я Либби. Мне приходится чуть ли не кричать из-за ветра, порывы которого вырывают змея из моих рук, и нейлон шумно бьется об меня. – Для этого образца нужны идеальные условия. Вряд ли мы сможем хотя бы поднять его в воздух».

Так оно и выходит, к огромному ее разочарованию: почему-то она считает, что, не запустив змея, не сумела отомстить Року. «Этот придурок угрожает рассказать тем, кому говорят такие вещи, – взмах рукой в направлении Вестминстера, из чего я заключаю, что она имеет в виду правительство, – что мы вообще не были женаты. В смысле, не были физически женаты, то есть не делали это друг с другом. Он такой кусок дерьма, ты не поверишь».

«А что случится, если он расскажет правительству, что вы фактически не были женаты?»

«Но мы были женаты. Мы и есть женаты. Тьфу! Он с ума меня сводит».

Как оказалось, Либби опасается, что ее статус пребывания в стране изменится, если ее отдельно проживающий муж сумеет доказать свое видение ситуации. А поскольку она переехала из его явно вредного для здоровья дома в Бермондси в квартиру на Чалкот-стрит, муж боится, что потеряет ее, чего ему, очевидно, не хочется, несмотря на все его волокитство. Вот

почему между ними разыгрался очередной скандал, в ходе которого он посоветовал Либби пойти проветриться.

Сожалея о том, что Либби огорчилась из-за воздушного змея, я пригласил ее зайти в кафе. И за чашкой кофе она сообщила мне, что на самом деле Либби – это сокращение от полного имени Либерти.

«Хиппи, – снова возвращается она к своим родителям. – Они хотели, чтобы у их детей были самые необычные имена. – Тут она изобразила, будто затягивается воображаемым косяком. – Моей сестре повезло еще меньше: она Икволити, хочешь – верь, хочешь – не верь. Или сокращенно Оли. А если бы родился третий ребенок, то...»

«Фратернити?»⁸ – говорю я.

«Угадал, – кивает она. – Но в принципе я должна радоваться, что они предпочли абстрактные имена. Ведь, господи, все могло быть гораздо хуже. Меня могли бы назвать Деревом».

Я хихикаю: «Или конкретной разновидностью дерева: Сосна, Дуб, Ива».

«Ива Нил. С этим я еще могла бы жить». Либби копается в пакетиках сахара на столе, выискивая диетический подсластитель. Как я обнаружил, она постоянно сидит на диете, и борьба за физическое совершенство является, по ее выражению, «единственной рябью на глади океана моего существования». Либби высыпает подсластитель в кофе с обезжиренным молоком и говорит: «Ну а у тебя как, Гид?»

«У меня?»

«Какие у тебя родители? Наверняка не дети цветов».

На тот момент она еще не встречалась с моим отцом, хотя он видел ее из музыкальной комнаты однажды вечером, когда она вернулась после работы домой на своем «судзуки» и, как обычно, въехала на тротуар рядом с лестницей, ведущей в ее квартиру. У нее есть привычка газовать два-три раза напоследок, и рев мотора привлек внимание папы. Он подошел к окну, увидел Либби и сказал: «Будь я проклят. Тут какой-то чертов байкер ставит мотоцикл прямо у тебя под окнами, Гидеон. Ну-ка...» И он начал поднимать раму.

Я сказал: «Все в порядке, папа. Это Либби Нил. Она здесь живет».

Он медленно повернулся. «Что? Это женщина? И она живет здесь?»

«Не здесь. Ниже. В квартире. Я решил сдать ее. Неужели я забыл сказать тебе?»

На самом деле я не забыл. Но я не сообщил отцу о Либби и об аренде квартиры не потому, что намеренно утаивал это от него, просто не подвернулось удобного случая. Мы с папой общаемся каждый день, однако наши беседы, как правило, касаются моей профессии и всего, что с ней связано. Например, приближающийся концерт, гастроли, которые он организует, звукозапись, которой я не очень доволен, просьба об интервью или участии в каком-либо мероприятии. Вспомните тот факт, что я ничего не знал о его отношениях с Джил, пока дальнейшее молчание о ней не стало более неловким, чем посвящение меня в происходящее. В конце концов, появление явно беременной женщины в жизни мужчины определенно требует каких-то объяснений. Но вообще-то мы с отцом никогда не были такими душевными приятелями. Мы оба со времени моего детства были полностью поглощены моей музыкой, и эта концентрация, как с его стороны, так и с моей, исключила возможность – или устранила необходимость – тех излишеств, которые считаются в наши дни идеалом близких отношений между людьми.

Хочу подчеркнуть: я ни единого мгновения не сожалел о том, что у нас с папой сложились именно такие отношения. Они прочные и честные, и если это не те узы, под влиянием которых мы взгромождаемся на велосипеды и вместе покоряем Гималаи или садимся в каяки, чтобы спуститься по Нилу, тем не менее наши с ним отношения укрепляют и поддерживают меня. Сказать правду, если бы не мой отец, доктор Роуз, сегодня я не был бы тем, кем являюсь.

⁸ Имена означают соответственно «свобода», «равенство», «братство».

4 сентября

Нет. На этом вы меня не подловите.

«А кем вы сегодня являетесь, Гидеон?» – спрашиваете вы мягко.

Я отказываюсь в этом участвовать. Мой отец здесь совершенно ни при чем. Если я не могу заставить себя хотя бы взять в руки скрипку, мой отец в этом не виноват. Я отказываюсь становиться одним из этих безмозглых хлюпиков, которые перекладывают вину за каждое свое затруднение на родителей. У папы была трудная жизнь. Он делал все, что было в его силах.

«Трудная в каком смысле?» – хотите вы знать.

Для начала попробуйте вообразить, каково иметь отцом моего деда. Каково быть отосланным в школу в шесть лет. Каково приезжать домой на каникулы и присутствовать при психических приступах. И каково знать, что никогда, ни при каких обстоятельствах, что бы ты ни делал, тебя не сочтут достойным сыном, потому что ты не родной, тебя усыновили, о чем отец тебе постоянно напоминает. Нет. В качестве моего отца папа сделал все, что мог. А сыном он был лучшим, чем многие из нас.

«Лучшим сыном, чем вы?» – спрашиваете вы меня.

Этот вопрос вам придется переадресовать моему отцу.

«Но как вы оцениваете себя как сына, Гидеон? Что вам прежде всего приходит на ум в этой связи?»

Разочарование, говорю я.

«То есть вы разочаровали отца?»

Нет. Я имею в виду, что я не должен разочаровывать его. Но могу.

«Он когда-нибудь говорил вам, как это важно – не разочаровать его?»

Никогда. Вообще ни разу. Но...

«Но?»

Ему не нравится Либби. Я с самого начала знал, что она ему не понравится или, по крайней мере, ему не понравится ее присутствие в доме. Что он сочтет ее потенциальным источником помех в моей работе.

Вы спрашиваете: «Этим объясняются его слова в Уигмор-холле: “Это все из-за нее”? Он тут же связал ваше состояние с ней, правильно?»

Да.

«Почему?»

Не думаю, что он не хочет, чтобы я сблизился с женщинами. С чего бы это? Для моего отца семья – это все. А если я не женюсь в один прекрасный день и не произведу собственных детей, наш род на этом закончится.

«Но теперь все изменилось: вскоре ожидается появление еще одного ребенка. Семья продолжится, женитесь вы или нет».

Да, это так.

«То есть теперь он может высказывать свое неодобрение относительно каждой женщины в вашей жизни, не опасаясь, что вы воспримете его мнение близко к сердцу и никогда не женились?»

Нет! Я отказываюсь играть в эту игру. Мой отец тут ни при чем. Если ему не нравится Либби, то только потому, что он озабочен тем, какое воздействие она может оказать на мою музыку. И у него есть все основания беспокоиться. Либби не отличит смычок от кухонного ножа.

«Она мешает вашей работе?»

Нет, не мешает.

«Она проявляет безразличие к вашей музыке?»

Нет.

«Она нарушает ваш покой? Игнорирует требование соблюдать тишину? Тем или иным способом покушается на ваше время и отрывает вас от занятий музыкой?»

Никогда.

«Вы сказали, что она невежественна. Вы считаете, что она цепляется за свою необразованность как за собственное достоинство?»

Нет, не замечал такого.

«И все равно ваш отец недолюбливает ее».

Послушайте, он делает это только ради меня. Все, что он делает, – это только ради меня. И сейчас я сижу здесь с вами, доктор Роуз, благодаря его стараниям. Когда он понял, что случилось со мной в Уигмор-холле, он не закричал: «Поднимайся! Соберись!»

Там целый зал людей, которые заплатили, чтобы послушать твою игру!» Нет. Он сказал Рафаэлю: «Гидеон болен. Извинись за нас» – и увез меня оттуда. Увез домой, уложил меня в постель и всю ночь сидел рядом, приговаривая: «Мы справимся, Гидеон. Сейчас тебе надо поспать».

Он велел Рафаэлю найти врача. Рафаэль слышал о работе вашего отца с артистами, борющимися с психологическими блоками. И я пришел к вам, доктор Роуз. Я пришел к вам из-за того, что мой отец хочет, чтобы ко мне вернулась музыка.

5 сентября

Больше никто не знает. Только мы трое: папа, Рафаэль и я. Даже мой агент по связям с общественностью не очень представляет себе, что происходит. «Находится под наблюдением врача», – провозгласила она миру, говоря тем самым, что я просто-напросто переутомился.

Вполне вероятно, что эту официальную причину многие трактуют как вспышку «звездной болезни», и меня это устраивает. Пусть лучше публика думает, что я ушел с помоста, недовольный освещением зала, чем узнает правду.

«Какую именно правду?» – спрашиваете вы.

Я в недоумении: разве бывает несколько правд?

«Разумеется, – говорите вы. – Одна правда касается того, что с вами случилось, а другая – того, почему это случилось. То, что случилось, называется психогенной амнезией, Гидеон. А причина, вызвавшая ее, является предметом наших с вами встреч».

То есть вы хотите сказать, что пока мы не узнаем, почему у меня наступила эта... эта... как, вы сказали, она называется?

«Психогенная амнезия. Она похожа на истерический паралич или слепоту: часть вашего организма, которая всегда работала – в данном случае ваша музыкальная память, если вы согласны так назвать ваши способности, – внезапно перестает работать. До тех пор пока мы не поймем, почему вы испытываете данное состояние, мы не сможем изменить его».

Интересно, понимаете ли вы, в какой ужас привели меня ваши слова, доктор Роуз? Вы сообщили эту информацию с безупречным тактом, и все равно я чувствую себя выродком. Да-да, я знаю, как перекликается это слово с моим прошлым, так что не надо указывать мне на это. Я по-прежнему слышу, как дедушка, на котором повисли женщины и санитары, орет на моего отца. И я по-прежнему отношу это слово на свой счет. Выродок, выродок, выродок – так я называю себя. Прикончить урод. Уничтожить урод.

«Вы действительно так считаете?»

А кто же я, как не выродок? Я никогда не ездил на велосипеде, не играл в регби или в крикет, не ударил ракеткой по теннисному мячу и даже не ходил в школу. У меня был депсихопат; моя мать предпочла бы быть монахиней, чем жить в семье, и, скорее всего, действительно ушла в монастырь; мой отец надрывался на двух работах, пока я не стал профессионалом, а мой учитель музыки водил меня за руку с записи на концерт и вообще не спускал с меня

глаз. Меня баловали, холили и боготворили, доктор Роуз. Что же могло родиться при таких начальных условиях, как не самый настоящий урод?

Нужно ли удивляться, что меня мучает язва желудка? Что перед каждым выступлением меня выворачивает наизнанку? Что мой мозг иногда стучит по черепу, как молот? Последние шесть лет я не могу даже просто быть с женщиной. А когда я был способен лечь с ней в постель, акт соития не давал мне ни близости, ни радости, ни страсти; все, что я чувствовал, – это потребность сделать это, завершить процесс, получить свое жалкое удовлетворение и поскорее выпроводить женщину за дверь.

И какова сумма всего вышеперечисленного, доктор Роуз? Кто я, как не настоящий, сто-процентный урод?

7 сентября

Сегодня утром Либби спросила, что случилось. Она поднялась ко мне на второй этаж в своем обычном для выходного дня наряде: джинсовый полукомбинезон, футболка и туристские ботинки. Похоже, она собиралась на прогулку, потому что из кармана у нее торчал плеер, который она обычно берет с собой, когда отправляется в предписанные диетой походы. Я сидел за столом у окна, выполнял ваше задание – писал этот дневник. Она обернулась, увидела, что я смотрю на нее, и поднялась ко мне.

Она пробует новую диету, сообщила она мне. Диету под названием «Ничего белого». «Я сидела на диете Майо, на капустном супе, на раздельном питании, на ананасовой диете – короче, что только я не перепробовала! Ничто не помогло, и теперь я нашла новый вариант». Этот вариант состоит в том, пояснила она мне далее, что есть можно все, кроме белых продуктов. Продукты, изменившие свой натуральный белый цвет благодаря пищевым добавкам, есть тоже нельзя.

Либби озабочена своим весом, и для меня это загадка. Она не толстая, насколько я могу судить, хотя это трудно сказать наверняка, поскольку Либби все время ходит или в кожаных штанах, когда выполняет обязанности курьера, или в комбинезоне. Не знаю, есть ли у нее другая одежда. Но даже если кому-то она покажется полноватой – еще раз подчеркну, мне она не кажется ни капельки полноватой, – то, вероятно, только потому, что у нее круглое лицо. Почему-то круглые лица обладают таким свойством: из-за них человек выглядит полнее. Я говорю ей это, но она безутешна. «Мы живем в век скелетов, – говорит она. – Тебе повезло, ты худой от природы».

Я никогда не рассказывал ей о том, чего стоит эта моя худоба, которой она завидует. Вместо этого я говорю: «Женщины слишком переживают из-за веса. У тебя нормальная фигура».

Я говорил ей это не раз, и однажды она ответила мне следующим образом: «Раз ты считаешь, что у меня нормальная фигура, тогда почему не приглашаешь на свидание?»

Вот так получилось, что мы начали встречаться. Какое странное выражение, не правда ли, «встречаться», как будто мы не можем видеть друг друга, пока между нами не будут установлены определенные отношения. Мне оно не очень нравится – «встречаться», – слишком уж оно похоже на эвфемизм, хотя здесь эвфемизмы не требуются. Другое подобное выражение – «ухаживать» – звучит как-то по-детски. В любом случае я бы не сказал, что ухаживаю за Либби.

«Так как бы вы назвали отношения, которые установились у вас с Либби Нил?» – задаете вы вопрос.

На самом деле вы хотите спросить: «Спите ли вы с ней, Гидеон? Стала ли она той женщиной, которая растопила лед в ваших венах?»

Ответ будет зависеть от того, что вы имеете в виду под словом «спать», доктор Роуз. Вот вам еще один эвфемизм. Почему мы используем термин «спать», когда сон – это последнее, чем мы хотим заниматься, когда ложимся в постель с особой противоположного пола?

Однако вернемся к вашему вопросу. Да, мы спим вместе. Время от времени. Но когда я говорю «спим», я имею в виду, что мы спим, а не занимаемся сексом. Ни один из нас еще не готов ни к чему большему.

«Как вы пришли к этому?» – спрашиваете вы.

Это случилось само собой. Как-то вечером она приготовила нам ужин. Для меня это был очень тяжелый день, я много репетировал перед выступлением в Барбикане⁹. И я заснул на ее постели, где мы сидели и слушали какую-то музыкальную запись. Она накрыла меня одеялом и присоединилась ко мне, и там мы оставались до самого утра. Мы и сейчас иногда спим вместе. Должно быть, мы оба находим в этом определенный душевный комфорт.

«И комфорт физического контакта», – добавляете вы.

Да, в том смысле, что мне приятно чувствовать ее рядом. Тогда можно сказать, что я получаю и физическое удовольствие.

«Это то, что вы недополучили в детстве, Гидеон, – говорите вы. – Если все сосредоточились на вашем развитии и совершенствовании как музыканта, то вполне естественно предположить, что другие ваши потребности остались незамеченными и безответными».

Доктор Роуз, я настаиваю на том, чтобы вы серьезно отнеслись к моим словам: у меня были хорошие родители. Как я уже упоминал, отцу приходилось работать от зари до зари, чтобы обеспечить семью. Как только стало понятно, что я обладаю потенциалом, талантом и желанием быть... скажем так, быть тем, кем я стал, моя мать пошла и устроилась на работу, чтобы иметь возможность покрыть возросшие расходы. Да, из-за этого я не имел возможности видеть родителей так часто, как мог бы, но зато я по нескольку часов в день проводил с Рафаэлем, а если не с ним, то с Сарой Джейн.

«Кто такая Сара Джейн?» – спрашиваете вы.

Это Сара Джейн Беккет. Не совсем представляю себе, как ее называть. Гувернантка – слишком старомодное понятие, да и сама Сара Джейн немедленно отругала бы всякого, кто назвал бы ее гувернанткой. Полагаю, можно говорить о ней как о моей учительнице. Я уже говорил, что не ходил в школу, потому что, когда родители осознали, что центром моей жизни станет скрипка, они сразу поняли и другое: школьное расписание помешает моим занятиям музыкой. И они наняли Сару Джейн, чтобы учить меня дома. Когда я не работал с Рафаэлем, я работал с Сарой Джейн. И поскольку мы вынуждены были вставлять ее уроки в самое разное время, когда у меня появлялся свободный час или два, ей предложили жить у нас. Она прожила с нами долгие годы. Появилась она, когда мне было лет пять или шесть – как только родители поняли, что я не смогу получить образование традиционным способом, – и оставалась до тех пор, пока мне не исполнилось шестнадцать лет. К тому времени я прошел курс обязательного образования, а график концертов, записей, репетиций и упражнений сделал невозможным дальнейшее его продолжение. Но вплоть до того момента я ежедневно занимался с Сарой Джейн.

«Стала ли она для вас суррогатной матерью?» – спрашиваете вы.

Вы настойчиво сводите все к моей матери. Неужели вам везде мерещится тень Эдипа? Что скажете, например, о нереализованном эдипове комплексе? Мать отправляется на работу, оставляя ребенка один на один с его бессознательным желанием завладеть ею. А потом и вовсе исчезает, когда сыну всего восемь, или девять, или десять лет – я не помню и не желаю знать, сколько мне было тогда лет, – и больше он никогда ее не увидит.

Хотя я помню ее молчание. Странно. Я только сейчас вспомнил его. Молчание моей матери. Однажды ночью, когда она еще была с нами, я проснулся и обнаружил, что она лежит рядом, на моей кровати. Она обнимает меня, и мне трудно дышать из-за того, как она меня

⁹ Барбикан-центр – крупный культурный центр в лондонском районе Барбикан.

обнимает. Трудно, потому что она обхватила меня руками и моя голова оказалась... Неважно. Я не помню.

«Как она обхватила вас, Гидеон?»

Я же говорю – не помню. Помню только, что мне душно, но я ощущаю ее дыхание, и мне жарко.

«Ее дыхание такое горячее?»

Нет. Просто мне жарко. В той позе. И я хочу вырваться.

«От нее?»

Нет. Просто вырваться. Даже убежать. В общем, скорее всего, мне это просто приснилось. Это было так давно.

«Такое случалось несколько раз?» – таков ваш следующий вопрос.

Я отлично вижу, к чему вы клоните, и отказываюсь делать вид, будто помню то, что вы хотите, чтобы я помнил. Факты же таковы: моя мать рядом со мной, на моей кровати, она держит меня, мне жарко, от нее пахнет духами. И еще какая-то тяжесть на моей щеке. Я и сейчас чувствую этот вес. Он тяжелый, но неподвижный, и от него пахнет духами, которыми пользовалась моя мать. Странно, что мне припомнился этот запах. Я не смогу описать его вам, доктор Роуз, но думаю, что, если мне доведется почувствовать его еще раз, я сразу узнаю его и он напомнит мне о матери.

«Судя по тому, что вы рассказали, она держит вашу голову между своими грудями, – говорите вы. – Это объясняет, почему вы одновременно чувствуете и тяжесть на щеке, и запах духов. Вы не помните, в комнате темно или светло?»

Этого я не могу вспомнить. Только духота, тяжесть, ее духи.

«С кем-нибудь другим вы так больше никогда не лежали? С Либби, например? Или с одной из ее предшественниц?»

Господи, нет! И моя мать тут ни при чем. Ну хорошо. Да. Разумеется, я отдам себе отчет в том, что ее бегство от меня – от нас – кажется весьма значительным событием. Я не идиот, доктор Роуз. Я возвращаюсь домой из Австрии, моя мать исчезла, и больше я никогда ее не увижу, никогда не услышу ее голос, не прочитаю ни слова, написанного ее почерком и адресованного мне... Да-да, я знаю, что можно подумать. И в состоянии предположить, какие выводы я, ребенок, мог сделать из той ситуации: я виноват. Вероятно, в восемь или девять лет – сколько там мне было, когда она ушла, – я и делаю такой вывод, но я не помню, чтобы меня посещали подобные размышления, а в настоящее время я такого вывода не делаю. Она просто ушла. Все. Конец истории.

«Что вы имеете в виду, говоря “конец истории”?» – спрашиваете вы.

Буквально это и имею в виду. Мы о ней больше никогда не говорили. Или, по крайней мере, я никогда о ней не говорил. А если бабушка, дедушка и отец говорили, или Рафаэль, или Сара Джейн, или жилец Джеймс...

«Он все еще был с вами, когда ваша мать ушла из семьи?»

Да, был... Или нет? Нет. Должно быть, он уже съехал. Тогда с нами жил Кальвин, кажется. По-моему, я раньше говорил о Кальвине. О том, что жилец Кальвин искал номер телефона, когда у дедушки случился «эпизод» после ухода матери... Значит, к тому времени жилец Джеймс уже исчез...

«Вы говорите “исчез”. Это слово предполагает секретность, – замечаете вы. – Была ли секретность в отъезде жильца Джеймса?»

Секретность была во всем. Молчание и секретность. Такое у меня впечатление. Я захожу в комнату, и тут же наступает тишина, и я знаю, что они говорили о матери. А мне о ней говорить не разрешается.

«Что будет, если вы заговорите о ней?»

Не знаю, потому что я никогда не проверял этого.

«Почему?»

Потому что музыка – главное. У меня есть моя музыка. У меня по-прежнему есть моя музыка. У отца, у деда, у бабушки, у Сары Джейн и у Рафаэля. Даже у жильца Кальвина. У нас у всех есть моя музыка.

«Это правило было установлено явным образом? Правило о том, что вы не должны спрашивать о своей матери? Или оно просто подразумевалось?»

Наверное... Не знаю. Она не встречает нас, когда мы возвращаемся из Австрии. Ее нет, но вслух никто не признает этого факта. В доме не осталось и следа от тех лет, что она провела с нами. Кажется, что ее вообще не существовало. И никто не говорит ни слова. Взрослые не делают вида, будто она внезапно куда-то уехала. Они не делают вида, что она скорострительно скончалась. Они не делают вида, что она сбежала с другим мужчиной. Они ведут себя так, будто ее никогда и не было. И жизнь продолжается.

«Вы никогда не спрашивали, где она?»

Должно быть, я знал, что это одна из тем, на которые мы просто не разговаривали.

«Одна из тем? Были и другие?»

Мне кажется, что я не скучал по ней. Я даже не помню, чтобы мне в какой-то момент ее не доставало. Ее облик почти стерся из моей памяти. Помню только, что у нее светлые волосы и что она покрывала их платком, как королева. Но должно быть, она так делала только в церкви. И вот что я еще помню: как мы ходили с ней в церковь. Она плачет. Плачет в церкви на утренней мессе в часовне при монастыре, где первые скамьи заполнили монахини. Они сидят по другую сторону алтарной перегородки, эти монашки, хотя это не столько перегородка, сколько невысокий заборчик, призванный отделять монахинь от остальных посетителей. Правда, на утренней службе нет посторонних. Только мать и я. Монахини в первых рядах, на скамьях, предназначенных только для них; они носят нормальную одежду, хотя и очень скромную и с крестами на груди, и только одна из них одета в старинное монашеское одеяние. Пока идет служба, мать стоит на коленях, в церкви она всегда стоит на коленях, уткнув лицо в ладони. И все время плачет. А я не знаю, что мне делать.

«Почему она плачет?» – спрашиваете вы, как я и ожидал.

Мне кажется, что она постоянно в слезах. И та монахиня, одетая по-особому, подходит к матери после причастия, но до окончания мессы и отводит нас обоих через дорогу в монастырь, где усаживает в какой-то комнатке. Они с матерью разговаривают. Они сидят в одном углу комнаты. Я – в другом углу, дальнем, мне дали книгу и велели сидеть там. Но мне не терпится вернуться домой, потому что Рафаэль задал мне упражнения и, если я сыграю их хорошо, он в качестве награды отведет меня на концерт в Фестивал-холле. Будет выступать Илья Калер. Ему еще нет и двадцати лет, но он уже получил Гран-при Генуэзского конкурса имени Паганини. Я хочу послушать, как он играет, потому что я собираюсь играть лучше, чем он.

«Сколько вам лет?» – уточняете вы.

Лет шесть, думаю. Не старше семи, это точно. И я хочу пойти домой. Поэтому я покидаю отведенный мне угол и подхожу к матери, дергаю ее за рукав со словами: «Мам, мне скучно», потому что я всегда так говорю, так я общаюсь. Не: «Мама, мне нужно заниматься музыкой», но: «Мне скучно, и твой долг как матери сделать так, чтобы мне не было скучно». Но сестра Сесилия – да, именно так ее зовут, я вспомнил ее имя! – отцепляет мои пальцы от материнского рукава и ведет меня обратно в угол со словами: «Ты будешь сидеть здесь, пока тебя не позовут, Гидеон, и больше никаких капризов». Я поражен, потому что никто не разговаривает со мной таким тоном. Я же гений, в конце концов. Я – если в данном случае возможно употребление превосходной степени – уникальнейший человек в моей вселенной.

Наверное, только удивление оттого, что эта странная женщина отчитала меня столь неслыханным образом, удерживает меня на месте несколько минут. Сестра Сесилия и мать о чем-то беседуют на другом конце комнаты. Но потом я не выдерживаю и начинаю пинать

книжную полку, чтобы развлечься, и пинаю все сильнее, пока с полки не сыплются книги, а вместе с ними – статуя Девы Марии. Она падает на линолеум и раскалывается на кусочки. Вскоре мы, моя мать и я, уходим из монастыря.

В тот день я превосходно играю упражнения, заданные мне Рафаэлем. Он ведет меня на концерт, как и было обещано. Он договорился о том, чтобы меня познакомили с Ильей Калером, я принес с собой скрипку, и мы вместе играем. Калер великолепен, но я знаю, что превзойду его. Уже тогда я знаю это.

«А что делает ваша мать?» – спрашиваете вы.

Почти все время она проводит наверху.

«Там ее спальня?»

Нет. Нет. Там... там детская.

«Значит, она все время проводит в детской? Почему?»

И я знаю ответ. Я знаю его. Где он был все эти годы? Почему я вдруг вспомнил?

Моя мать в комнате Сони.

8 сентября

В моей памяти есть пробелы, доктор Роуз. Они похожи на холсты, на которых художник начал писать картины, но нанес лишь черную краску, а потом отставил их в сторону.

Соня – с одного из этих холстов. Я помню сам факт: была девочка Соня, и она была моей младшей сестрой. Она умерла совсем маленькой. Это я тоже помню.

Так вот почему моя мать плакала на утренних мессах. И смерть Сони, вероятно, была еще одной темой, которые в нашем доме не обсуждались. Каждое упоминание об этой смерти ввергало бы мать в пучину ее ужасного горя, и мы желали уберечь ее от этого.

Я стараюсь вызвать в памяти образ Сони, но у меня ничего не получается. Только черный холст. И когда я пытаюсь вспомнить какое-то праздничное событие, в котором она тоже принимала бы участие, – Рождество, например, или ежегодная поездка на такси с бабушкой в ресторан «Фонтан» в честь дня рождения, или что-нибудь другое, хоть что-нибудь... – ничего. Я даже не помню день, когда она умерла. И не помню ее похорон. Знаю лишь, что она умерла, потому что вдруг ее не стало.

«Так же, как вдруг не стало вашей матери, Гидеон?» – задаете вы вопрос.

Нет. Это отличается. Должно отличаться, потому что ощущения различны. А все, что я знаю наверняка, – это то, что она была моей сестрой, которая умерла в детстве. А потом ушла мать. Ушла ли она вскоре после того, как не стало Сони, или прошли месяцы или годы, не могу сказать. Но почему? Почему я не помню родную сестру? Что с ней случилось? От чего умирают дети: от рака, лейкемии, кистозного фиброза, скарлатины, гриппа, пневмонии... от чего еще?

«Это второй ребенок, который умер», – замечаете вы.

Что? Что вы имеете в виду? Какой второй ребенок?

«Второй ребенок вашего отца, который умер в младенчестве, Гидеон. Вы рассказывали мне о Вирджинии...»

Дети умирают, доктор Роуз. Это случается. Каждую неделю, каждый день. Дети болеют. А потом умирают.

Глава 3

– Просто не представляю, как официантка тут справилась, а ты? – спросила мужа Фрэнсис Уэбберли. – Конечно, нас она вполне устраивает, наша кухня. Вряд ли нам пригодилась бы посудомоечная машина или микроволновка. Но рестораторы... Они же привыкли ко всем этим современным штучкам. Вот, наверное, удивилась бедная женщина, когда приехала и увидела, что мы живем практически в средневековье!

Сидящий за столом Малькольм Уэбберли не ответил. Он слышал преувеличенно бодрые рассуждения жены, но его мысли были не здесь. Чтобы избежать необходимости участвовать в разговоре с кем бы то ни было, он решил начистить свою обувь. Он рассчитывал, что Фрэнсис, знавшая его уже более тридцати лет и осведомленная о его нелюбви делать два дела одновременно, увидит его за этим скромным занятием и оставит в покое.

Он очень хотел, чтобы его оставили в покое. Хотел этого с того момента, как услышал голос Эрика Лича в телефонной трубке: «Мальк, извини за поздний звонок, но у меня для тебя новости», за которыми последовала история смерти Юджинии Дэвис. Ему нужно было побыть наедине с собой, чтобы разобраться в охвативших его чувствах. И хотя бессонная ночь рядом с похрапывающей женой предоставила ему несколько часов уединения, чтобы подумать над тем, какой эффект возымели на его жизнь слова «наезд и побег с места происшествия», он не сумел воспользоваться ими. Все, на что он был способен, – это вспоминать, какой он видел Юджинию Дэвис в последний раз, когда ветер с реки разметал ее белокурые волосы. Выходя из своего коттеджа, она всегда покрывала голову шарфом, но во время их прогулки шарф сбился, и, пока она снимала его, складывала и вновь повязывала на голове, ветер раскидал по ее плечам светлые локоны.

Он тогда заторопился сказать: «Может, не нужно повязывать шарф? С солнцем в волосах ты выглядишь такой...»

Какой? Красивой? Да нет, в те годы, что он знал ее, она не отличалась особенной красотой. Молодой? Они оба уже лет десять как перевалили через экватор жизни. Уэбберли решил, что на самом деле он хотел сказать, что выглядит она умиротворенной. Солнечный свет в растрепанных ветром волосах создал ореол над ее головой, напомнивший ему о серафимах, то есть о спокойствии. Но, еще не успев произнести это слово, он осознал, что никогда не видел Юджинию Дэвис умиротворенной. И даже в тот миг – несмотря на фокус с нимбом, созданным солнцем и ветром, – в душе ее не было покоя.

Вновь размышляя над этим, Уэбберли тщательно размазывал крем по коже ботинка. Сквозь воспоминания до него донесся голос жены – она все еще что-то говорила ему:

– ...отлично справилась, надо сказать. Но слава богу, что было темно, когда бедняжка приехала, потому что неизвестно, как бы она смогла работать после лицезрения нашего сада. – Фрэнсис печально рассмеялась. – «Я все еще надеюсь, что когда-нибудь у нас будет пруд с лилиями», – сказала я леди Хильер на вчерашней вечеринке. А они с сэром Дэвидом, представляешь, планируют устроить джакузи в зимнем саду. Ты знал про это? Я сказала ей, что джакузи в зимнем саду – отличная идея для тех, кому нравятся подобные вещи, а лично для меня нет ничего лучше, чем небольшой пруд. «И когда-нибудь он обязательно будет у нас, – так я сказала ей. – Раз Малькольм сказал, что сделает, значит, сделает». Само собой, нам придется нанять кого-нибудь, чтобы выкосить сорняки и вывезти с участка ту старую газонокосилку, но уж про это я не стала говорить леди Хильер...

«Своей сестре Лоре», – мысленно поправил ее Уэбберли.

– ...потому что она все равно не поняла бы, о чем я толкую. Она держит садовника еще с... уж и не помню, с какого года. Но когда у нас будут время и деньги, мы обязательно устроим в саду пруд, правда?

– Вполне возможно, – ответил Уэбберли.

Фрэнсис поднялась из-за стола в тесной кухоньке и подошла к окну, выходящему в сад. За последние десять лет она стояла возле этого окна так часто, что на линолеуме появилось вытертое пятно в форме двух отпечатков ног, а на подоконнике – отметины от пальцев, где она часами сжимала крашеное дерево. О чем она думала, стоя так час за часом, день за днем, гадал ее муж. Что она пыталась сделать – и не могла? Словно подслушав его мысли, Фрэнсис произнесла:

– День сегодня солнечный. По радио обещали дождь после обеда, но, похоже, они ошиблись. Знаешь, пожалуй, я выйду и немного поработаю в саду.

Уэбберли поднял голову. Фрэнсис, почувствовав на себе его взгляд, повернулась к нему от окна; одной рукой она все еще цеплялась за подоконник, а другой сжимала отворот халата.

– Думаю, сегодня у меня получится, – сказала она. – Малькольм, я почти уверена в этом.

Сколько раз она говорила эти слова? Сто раз? Тысячу? Уэбберли уже и не помнил. И всегда с той же смесью надежды и самообмана. Она собирается поработать в саду. Она прогуляется по магазинам после обеда. Она намерена дойти до Пребенд-гарденс и посидеть там на скамеечке. Или сводит Альфи на прогулку. Или даже зайдет в новую парикмахерскую, которую все так хвалят... Сколько добрых и честных намерений, сведенных на нет в последний момент, когда перед Фрэнсис неумолимо вставала дверь. И как бы она ни старалась (а она старалась, Бог свидетель, как она старалась), она не могла заставить свою правую руку хотя бы взяться за дверную ручку.

Уэбберли проговорил:

– Фрэнни...

Она торопливо перебила его:

– Вечеринка все изменила. Вчера пришло столько друзей... все так хорошо относятся к нам. Я чувствую себя как... как надо, вот как я себя чувствую.

Появление Миранды спасло Уэбберли от необходимости отвечать.

– А-а, вот вы где, – сказала она и, уронив на пол футляр с трубой и тяжелый рюкзак, подошла к плите, где растянулся на своем одеяле Альфи – помесь немецкой овчарки, который никак не мог прийти в себя после вчерашнего празднования.

Миранда потрепала пса между ушами, и тот радостно перевернулся на спину и подставил живот для дальнейших ласк. Она верно истолковала его желание и даже пошла дальше, чмокнув собаку в морду и получив в ответ мокрый поцелуй.

– Дорогая, это так негигиенично, – укорила ее Фрэнсис.

– Это собачья любовь, – ответила Миранда, – чище которой, как мы все знаем, на свете не бывает. Да, Альф?

Альф зевнул.

– Ну так я поехала, – сказала Миранда, оглянувшись через плечо на родителей. – К следующей неделе надо подготовить два доклада.

– Как, уже? – Уэбберли отставил в сторону ботинок. – Ты не пробыла у нас и сорока восьми часов. Неужели Кембридж не потерпит еще денек?

– Дела, пап, дела. Я уж не говорю об экзаменах. Ты ведь хочешь, чтобы я стала первой, а?

– Подожди минутку, я только дочисти ботинки и отвезу тебя на станцию.

– Не нужно. Я поеду на метро.

– Тогда хоть подвезу тебя до метро.

– Папа... – Голос Миранды был образцом терпения. За двадцать два года они ходили этой дорогой достаточно часто, чтобы она привыкла к ее изгибам и поворотам. – Мне нужна физическая нагрузка. Скажи ему, мама.

Уэбберли запротестовал:

– Но если начнется дождь, пока...

– Силы небесные, да не растает она, Малькольм.

«Но они тают, – мысленно возразил Уэбберли. – Они тают, ломаются, исчезают в мгновение ока. И как раз тогда, когда ты меньше всего опасаясь, что они могут растаять, сломаться или исчезнуть». Однако он знал, что, если две женщины объединяют против тебя силы, самым мудрым решением будет компромисс. И поэтому он сказал:

– Ладно, просто прогуляюсь вместе с тобой. – И, когда Миранда закатила глаза в знак протеста против того, что среди бела дня отец собирается сопровождать взрослую дочь, как будто она не в состоянии самостоятельно перейти дорогу, поспешно добавил: – Альфу нужно сделать свои утренние дела.

– Мама! – воззвала Миранда к матери.

Но Фрэнсис лишь пожала плечами.

– Ты ведь еще не выгуливала сегодня Альфи, дорогая?

И Миранда с добродушным отчаянием сдалась.

– Ох, ну ладно, зануда. Только знай, мне некогда ждать, когда ты доведешь свои ботинки до идеального состояния.

– Ничего, я закончу, – предложила свою помощь Фрэнсис.

Уэбберли застегнул на собаке поводок и вышел вслед за дочерью из дома. На улице Альфи тут же побежал в кусты и стал выковыривать оттуда старый теннисный мяч. Он знал порядок вещей, когда на другом конце поводка идет Уэбберли: сначала они прогуляются до Пребенд-гарденс, там хозяин отцепит от ошейника поводок и забросит мячик в траву, а он, Альфи, должен будет найти мячик и носиться с ним по парку. Эта гонка с мячиком продлится не менее четверти часа.

– Не знаю, у кого меньше воображения, – сказала Миранда, наблюдая за тем, как пес нырнул в заросли гортензии, – у тебя или собаки. Только посмотри на него, папа! Он знает, что происходит. Для него сюрпризов в этой прогулке не будет.

– Собакам нравится определенность, – сказал Уэбберли, принимая из пасти триумфально приплясывающего Альфи потрепанный мячик.

– Собакам – да. А тебе? Неужели ты всегда водишь его одним и тем же маршрутом?

– Это моя ежедневная прогулочная медитация, – сказал он. – Ежеутренняя и ежевечерняя. Разве это плохо?

– Ежедневная медитация! – фыркнула Миранда. – Папа, ты такой выдумщик. Правда.

Выйдя за калитку, они повернули направо, шагая вслед за собакой. Пес же, дойдя до конца Палгрейв-стрит, ни секунды не колеблясь, свернул налево, на дорогу, которая приведет их к Стамфорд-Брук-роуд. А оттуда до Пребенд-гарденс – рукой подать.

– Вчера все прошло так хорошо, – сказала Миранда, беря отца под руку. – И маме, кажется, понравилось. И никто не упомянул... и не спросил... по крайней мере, меня...

– Да, праздник удался, – сказал Уэбберли, прижимая локоть к боку, чтобы еще больше приблизить дочь к себе. – Мать отлично провела время – настолько, что сегодня опять заговорила о том, что хочет поработать в саду.

Он чувствовал, что дочь смотрит на него, но упорно не сводил глаз с дороги.

Миранда сказала:

– Она не выйдет. Ты знаешь это. Пап, почему ты не настоял, чтобы она снова обратилась к тому доктору? Таким, как она, можно помочь.

– Я не могу заставить ее делать больше, чем она того хочет.

– Нет. Но ты мог бы... – Миранда вздохнула. – Не знаю. Что-нибудь. Хоть что-нибудь. Я не понимаю, почему ты не отстаиваешь свою позицию. Почему ты всегда уступаешь маме, никогда не настоишь на своем?

– И как я могу это сделать, по-твоему?

– Если она будет думать, что ты действительно... ну, например, если ты скажешь ей: «Фрэнсис, все, это предел моего терпения. Я хочу, чтобы ты вернулась к тому психиатру, а иначе...»

– Что иначе? Что?

Он почувствовал, как дочь поникла у его плеча.

– Да. В этом все дело, верно? Я знаю, что ты никогда не оставишь ее. Ну да, конечно, как можно. Но должно же быть что-то, что ты... что нам еще не пришло в голову. – И, чтобы избавиться от необходимости отвечать, она показала на Альфи, который посматривал на соседскую кошку с излишне живым интересом. Она взяла поводок из рук отца и сказала: – Даже не думай, Альфред.

На перекрестке они с нежностью попрощались. Миранда пошла налево, в сторону станции метро, а Уэбберли зашагал вдоль зеленого железного забора, который очерчивает восточную границу Пребенд-гарденс.

Войдя в калитку, он снял собаку с поводка и вырвал из ее пасти мячик. Забросив его как можно дальше, на дальний конец газона, Уэбберли наблюдал, как Альфи бросился вдогонку за летящей желтой точкой. Как только мяч снова оказался у него в зубах, он стал описывать круги по периметру газона. Уэбберли следил за его продвижением от скамьи к кусту, от куста к дереву, от дерева к тропе, но сам оставался почти на том же месте, откуда бросил мяч, только сдвинулся на шаг, чтобы сесть на скамью, когда-то выкрашенную черным цветом, судя по оставшимся кое-где следам краски. Рядом со скамьей стоял стенд, на котором вывешивали объявления, касающиеся жизни микрорайона.

Уэбберли проглядел объявления, не вдаваясь в детали: рождественские мероприятия, антикварные ярмарки, гаражные распродажи. С удовлетворением отметил, что телефонный номер местного отделения полиции вывешен на видном месте и что в помещении церкви собирается комитет по организации добровольного патрулирования микрорайона. Он все прочитал, но уже через несколько минут не смог бы вспомнить и слова. Пока он водил глазами по этим пяти-шести листкам под стеклом доски объявлений и механически складывал буквы в слова, перед его мысленным взором стояла Фрэнсис, вцепившаяся в подоконник. А в ушах звучали слова дочери, произнесенные с любовью и безусловной верой в него: «Ты никогда не оставишь ее... как можно?» Этот последний вопрос с особой настойчивостью бился в его голове, отлетая от стенок черепа гулким эхом убийственной иронии. Разве смог бы ты оставить ее, Малькольм Уэбберли? В самом деле, смог бы ты оставить ее?

У него и в мыслях не было бросать Фрэнсис, когда ему передали вызов на Кенсингтон-сквер. Вызов поступил через полицейский участок на Эрлс-Корт-роуд, куда его совсем недавно назначили инспектором и дали в напарники сержанта Эрика Лича. За рулем сидел Лич. Они ехали по Кенсингтон-Хай-стрит, которая в те дни была не так забита машинами, как сейчас. Лич еще плохо знал район и проскочил нужный поворот, так что им пришлось пробираться по извилистой Тэкери-стрит, деревенская атмосфера которой никак не вязалась с огромным городом, и на Кенсингтон-сквер они выскочили с юго-восточного конца. И оказались прямо перед нужным домом, викторианским зданием из красного кирпича с белым медальоном на фронтоне, где была указана дата постройки – тысяча восемьсот семьдесят девятый год. То есть оно было относительно новым в районе, где старейшие строения появились почти двумя веками ранее.

Патрульная машина, прибывшая на место по звонку жильцов одновременно с каретой «скорой помощи», еще стояла у поребрика, хотя проблесковый маячок уже был погашен. А машины «скорой помощи» давно и след простыл, как разошлись уже и соседи, которые неизменно собираются в любое время суток, стоит лишь раздаться полицейской сирене.

Уэбберли открыл дверцу машины и прошел к дому, перед которым низкая кирпичная стена, увенчанная кованым заборчиком, огораживала выложенную брусчаткой площадку с

декоративным растением посередине. Растение при ближайшем рассмотрении оказалось вишней, и в это время года вокруг его ствола разлилось розовое озеро из опавших лепестков.

Парадная дверь была закрыта, но, очевидно, их прибытия ждали, потому что, как только Уэбберли вступил на крыльцо, дверь распахнулась. В дом их впустил констебль, который и позвонил в участок. Он выглядел потрясенным. Ему впервые пришлось иметь дело со смертью ребенка, сообщил он вновь прибывшим. Он приехал сразу вслед за «скорой помощью».

– Всего два годика, – глухо проговорил молодой констебль. – Отец делал ей искусственное дыхание, и медики сделали все, что было в их силах. – Он потряс головой. – Шансов не было. Она умерла. Извините, сэр. Дома у меня маленький сын. Тут задумаешься...

– Понятно, – прервал его Уэбберли. – Все в порядке, сынок. У меня тоже ребенок.

Ему не нужно было напоминать о том, как преходяща жизнь, как бдителен должен быть родитель, оберегая эту жизнь от всего, что может оборвать ее. Его Миранде только что исполнилось два года.

– Где это случилось? – спросил Уэбберли.

– В ванной. Наверху. Но разве вы не хотите сначала поговорить с... Все члены семьи в гостиной.

Уэбберли вполне мог обойтись без подсказок неопытного констебля, что и когда делать, но парнишка был явно выбит из колеи, так что не имело смысла спорить с ним. Вместо этого Уэбберли обратился к Личу:

– Скажите им, что мы поговорим с ними через несколько минут. После... – и кивком головы указал на лестницу. Констеблю же он велел: – Показывайте, – и поднялся вслед за ним по лестнице, изогнутой вокруг дубовой стойки для растений, с которой до самого пола свешивал ветки огромный папоротник.

Ванная располагалась на третьем этаже дома рядом с детской, туалетом и еще одной спальней, занятой вторым ребенком в семье. Родители и дед с бабушкой занимали комнаты этажом ниже. На верхнем этаже расположились няня, жилец и женщина, которая... ну, констебль назвал бы ее гувернанткой, вот только члены семьи ее так не называли.

– Она учит детей, – пояснил он. – То есть... только старшего, по-моему.

Уэбберли поднял брови, удивленный тем, что в наши дни еще существуют гувернантки, и двинулся в ванную, где свершилась трагедия. Там к нему присоединился Лич, выполнив поручение в гостиной. Констебль вернулся на свой пост у входной двери.

Два детектива молча обследовали ванную комнату. Для места, где свой след оставила внезапная смерть, она была несуразно прозаической. И все же смерти случались в ваннах так часто, что Уэбберли недоумевал: когда же люди поймут, что нельзя оставлять ребенка без присмотра ни на секунду, если рядом воды хотя бы на дюйм глубиной?

Ну а в этой ванне воды было гораздо больше, по меньшей мере десять дюймов. Вода остыла, на ее поверхности замерли пластмассовая лодочка и пять желтых резиновых утят. На дне возле сливного отверстия лежал кусок мыла. Поперек ванны висел столик из нержавеющей стали, обтянутый по краям резиной, на нем горкой сложены полотенце, расческа, губка. Все выглядело совершенно обыденно. Но были и признаки того, что эту комнату недавно посетили паника и трагедия.

В одном углу валялась опрокинутая стойка для полотенец. Намокший коврик сбился под раковину. На боку плетеной корзины для мусора образовалась вмятина. На белом кафеле виднелись отпечатки грязных ботинок, оставленные врачами «скорой помощи». О соблюдении чистоты и порядка они думали меньше всего, пока пытались вернуть ребенка к жизни.

Уэбберли мог нарисовать всю сцену так ярко, как будто сам присутствовал при ней, – потому что он присутствовал при десятках других таких же сцен, когда служил патрульным. Среди медиков – никакой паники, напротив, они сосредоточены и нечеловечески спокойны. Проверка пульса и дыхания. Реакция зрачков. Немедленные реанимационные меры. Через

несколько секунд они поймут, что девочка мертва, но не скажут этого вслух, потому что их работой является жизнь, жизнь любой ценой, и они будут работать над ребенком, и бегом вынесут его из дома, и по дороге в больницу будут делать все возможное, потому что всегда есть шанс, что еще можно вдохнуть жизнь в безвольную оболочку, в которую превращается покинутое душой тело.

Уэбберли присел на корточки перед корзиной для мусора и выправил ручкой помятую стенку, после чего исследовал содержимое. Шесть использованных салфеток, где-то с пол-ярда зубной нити, тюбик из-под зубной пасты. Он обратился к Личу:

– Проверь настенную аптечку, Эрик, – а сам вернулся к ванне и долго и тщательно разглядывал ее стенки, краны и слив, замазанную цементным раствором щель между ванной и стеной и воду.

Ничего.

Лич доложил:

– Здесь только детский аспирин, сироп от кашля, несколько рецептов. Пять рецептов, сэр.

– На чье имя?

– Все на имя Сони Дэвис.

– Тогда перепиши их все. Запечатай помещение. Я поговорю с семьей.

Но в гостиной его встретила не только семья, потому что в доме жили и другие люди, и в момент, когда вечерние ритуалы прервались трагедией, они тоже находились в здании. Уэбберли сначала показалось, что гостиная едва вмещает всех, кто там собрался, хотя их было всего девять человек: восемь взрослых и маленький мальчик с симпатичной прядью белокурых волос, падающей ему на лоб. С белым как мел лицом он стоял в защитном кольце рук пожилого мужчины, вероятно его деда, и мял дедушкин галстук – судя по виду, память о колледже или спортивном клубе.

Все молчали. На их лицах был написан шок, и казалось, будто они сбились в кучу, чтобы оказать друг другу хоть какую-то поддержку. Почти все взгляды были направлены на мать, сидевшую в углу, – женщину лет тридцати с небольшим, примерно ровесницу Уэбберли, с молочно-белой кожей и большими глазами, обращенными в никуда и видящими снова и снова то, чего не должна видеть ни одна мать: обмякшее тело ее ребенка в руках незнакомцев, которые безуспешно пытаются вернуть его к жизни.

Когда Уэбберли представился, один из двоих мужчин, пристроившихся неподалеку от матери, поднялся и сказал, что его зовут Ричард Дэвис, что он отец ребенка, увезенного в больницу. Почему он предпочел употребить этот эвфемизм, стало понятно, когда Дэвис бросил быстрый взгляд в сторону мальчика, своего сына. Отец мудро не желал говорить о смерти одного ребенка в присутствии другого. Он сказал:

– Мы были в больнице. Я и моя жена. Нам сказали, что...

В это мгновение зарыдала молодая женщина, сидевшая на диване рядом с мужчиной примерно того же возраста, который обнимал ее за плечи. Это были ужасные, горловые рыдания с всхлипами, обычно предшествующими истерике.

– Я не оставляю ее! – причитала она, и даже сквозь плач Уэбберли расслышал сильный немецкий акцент. – Я клянусь Богом, что я не оставляю ее ни на минуту.

То есть надо выяснить обстоятельства, как именно умерла девочка.

Их всех нужно допросить, но не одновременно. Уэбберли обратился к немке:

– Вы отвечали за ребенка?

Но в ответ раздался голос матери:

– Это я навлекла на нас несчастье.

– Юджиния! – воскликнул Дэвис, а второй мужчина, с лицом, блестящим от пота, сказал:

– Не говори так, Юджиния.

Дедушка провозгласил:

– Мы все знаем, чья это вина.

Немка зарыдала с новой силой:

– Нет! Нет! Я не оставляю ее!

Сосед по дивану пытался успокоить ее, приговаривая:

– Все хорошо, – хотя ничего хорошего в происходящем не было.

Двое из присутствующих сохраняли молчание: преклонных лет женщина, не сводящая глаз с деда, и женщина помоложе в аккуратной юбке в складку, с волосами цвета помидоров; последняя с откровенной неприязнью следила за плачущей немкой.

Слишком много людей, слишком много эмоций, нарастающая неразбериха. Уэбберли велел всем разойтись, за исключением родителей.

– Но оставайтесь в доме, – уточнил он. – И пусть кто-нибудь постоянно находится с мальчиком.

– Я присмотрю за ним, – вызвалась красноволосая, очевидно та самая «гувернантка», о которой говорил молодой констебль. – Пойдем, Гидеон. Давай займемся математикой.

– Но мне нужно упражняться на скрипке, – сказал мальчик, переводя требовательный взгляд с одного взрослого на другого. – Рафаэль сказал...

– Гидеон, все в порядке. Делай, как говорит Сара Джейн. – Мужчина с потным лицом отошел от матери и присел на корточки перед мальчиком. – Сейчас ты не должен беспокоиться о музыке. Иди с Сарой Джейн, хорошо?

– Пойдем, парень.

Дед встал, не выпуская мальчика из кольца рук. Остальные вышли вслед за ними, и в комнате остались только родители погибшего ребенка.

Даже много лет спустя, в парке в Стамфорд-Брук, под аккомпанемент заливистого лая Альфи, гонящегося за птицами и белками в ожидании, когда хозяин вновь посадит его на поводок, Уэбберли видел Юджинию Дэвис такой, какой она была в тот далекий вечер.

Скромно одетая в темные брюки и бледно-голубую блузку, она не шевелилась. Она не смотрела ни на него, ни на мужа. Произнесла только:

– О мой бог. Что с нами будет?

При этом она обращалась не к мужчинам, а к себе.

Ее муж сказал, не столько отвечая ей, сколько к сведению Уэбберли:

– Мы ездили в больницу. Они ничего не могли сделать. Здесь они нам этого не сказали. В доме. Они не сказали нам.

– Да, – кивнул Уэбберли. – Это не их работа. Они оставляют это уполномоченным лицам.

– Но они знали. Знали уже здесь. Они ведь знали?

– Полагаю, да. Мои соболезнования.

Ни муж, ни жена не плакали. Слезы придут, но потом, когда родители осознают, что кошмар происходящего – вовсе не дурной сон, а реальность, которая окрасит всю дальнейшую их жизнь. Но пока они онемели от травмы: первая паника, кризис отчаянной борьбы, вторжение незнакомцев в их дом, мучительное ожидание в приемном покое, выход врача, чьи глаза не оставили им никаких сомнений еще до того, как он заговорил.

– Нам сказали, что отдадут ее потом... Ее... ее тело, – выдавил Ричард Дэвис. – Нам не разрешили забрать ее, не могли оформить... Почему?

Юджиния опустила голову. Слеза упала на сложенные на коленях руки.

Уэбберли подтянул к себе стул и сел, чтобы быть на одном уровне с женщиной. Он кивнул Ричарду Дэвису, чтобы тот поступил так же. Дэвис послушно сел рядом с женой и взял ее за руку. Уэбберли объяснил им, как смог: когда случается неожиданная смерть, когда кто-то умирает, не находясь под присмотром врачей, которые могли бы удостоверить смерть, когда кто-то погибает в результате несчастного случая – например, тонет, – тогда по закону требуется провести посмертное вскрытие.

Юджиния подняла на него глаза.

– Вы говорите, ее будут резать?

Уэбберли уклонился от прямого ответа, сказав:

– Необходимо определить точную причину смерти.

– Но мы знаем причину, – сказал Ричард Дэвис. – Она... Бог мой, она была в ванне. И вдруг крики, женский визг. Я побежал на третий этаж, сверху примчался Джеймс...

– Джеймс?

– Он снимает у нас комнату. Он был у себя. И прибежал на шум.

– Кто еще находился в доме?

Ричард посмотрел на жену, словно ища у нее ответа. Она покачала головой и проговорила:

– Мама Дэвис и я были в кухне, готовили ужин. Соне пора было купаться, и...

Она замолчала, словно произнесенное вслух имя дочери сделало более реальным то, о чем мать не могла даже думать.

– И вы не знаете, где были в то время остальные?

Заговорил Ричард Дэвис:

– Мы с папой сидели в гостиной. Мы смотрели... Господи, смотрели этот бессмысленный, проклятый футбольный матч. Мы смотрели футбол, пока Сося тонула у нас над головой...

Должно быть, уменьшительная форма имени дочери окончательно сломила Юджинию. Она наконец дала волю слезам.

Ричард Дэвис, поглощенный своим горем и отчаянием, не обнял жену, как ожидал от него Уэбберли. Он просто назвал ее по имени и забормотал бесполезные слова, что все в порядке, что малышка сейчас с Богом, который любит ее так же, как любили ее они сами. И кто, как не Юджиния, знает это, с ее абсолютной верой в Бога и Божью милость?

Уэбберли подумал, что это слабое утешение. А вслух сказал:

– Мне надо поговорить со всеми остальными, мистер и миссис Дэвис. – И, обращаясь уже только к Ричарду Дэвису: – Вашей жене может понадобиться доктор. Лучше сразу позвоните ему.

Дверь гостиной распахнулась, и вошел сержант Лич. Он кивнул, показывая, что выполнил данные ему задания: переписал все, что находится в ванной комнате, и запечатал помещение. Уэбберли попросил его подготовить гостиную для того, чтобы провести в ней допрос обитателей дома.

– Спасибо за вашу помощь, инспектор, – проговорила Юджиния.

«Спасибо за вашу помощь». Уэбберли до сих пор слышал эти слова, даже сейчас, поднимаясь с облезлой скамьи. Поразительно, как эти четыре простых слова, произнесенные измученным голосом, сумели переменить всю его жизнь: за долю секунды он из детектива превратился в странствующего рыцаря.

Так случилось из-за того, что она была необыкновенной матерью, говорил себе Уэбберли, подзывая Альфи. Такой матерью, какой Фрэнсис – Бог ее простит – не могла бы стать, как ни старалась. Разве можно было не восхищаться такой матерью? Какой мужчина не желал бы служить ей?

– Альфи, ко мне! – крикнул он, потому что овчарка увязалась за терьером с летающей тарелкой в пасти. – Домой! Иди сюда. Я не буду надевать на тебя ошейник.

И пес бросился к Уэбберли, как будто и впрямь понял последнее обещание. Судя по вздымающимся бокам и вывешенному из пасти языку, Альфи отлично набегался сегодня. Уэбберли мотнул головой в сторону калитки, и собака прошествовала туда и послушно села, уставившись на карман хозяина в надежде на вознаграждение за такую благовоспитанность.

– Придется подождать, пока не вернемся домой, – сказал ему Уэбберли и вдруг задумался над своими словами.

А ведь действительно, именно так и шла его жизнь. Оборачиваясь на бесконечную череду уходящих вдаль дней, он видел, что все, имевшее значение в его жалком мирке, всегда откладывалось до тех пор, пока он не придет домой.

Линли заметил, что Хелен почти не притронулась к чаю. Однако она повернулась на кровати и следила за тем, как он терзает свой галстук, а он, в свою очередь, наблюдал за ней в зеркало.

– Значит, Малькольм Уэбберли знал эту женщину? – уточнила Хелен. – Как это тяжело для него, Томми. И прямо в годовщину свадьбы.

– Не то чтобы знал, – ответил Линли. – Она проходила как свидетель по первому делу, которое он вел, когда его назначили инспектором в Кенсингтоне.

– Тогда, выходит, это было давно. Наверное, дело произвело на него большое впечатление.

– Полагаю, что да.

Линли не хотел объяснять почему. Он вообще не хотел рассказывать ей о той далекой смерти, которую расследовал Уэбберли. История о ребенке, утонувшем в ванне, ужасна и при обычных обстоятельствах, но сейчас, когда в их жизни наступила перемена, Линли считал, что должен проявлять особую сдержанность и такт по отношению к жене, носящей под сердцем его ребенка.

«Нашего ребенка, – мысленно поправил он себя, – ребенка, с которым ничего не должно случиться». Любые разговоры о несчастье, выпавшем на долю другого ребенка, казались ему искушением судьбы. По крайней мере, так говорил себе Линли, завершая ритуал одевания.

Скрипнула кровать. Это Хелен снова переменила положение: повернулась на другой бок, подтянула колени и прижала к животу подушку.

– О господи, – простонала она.

Линли подошел к ней, сел на край кровати и погладил ее каштановые волосы.

– Ты не стала пить чай, – сказал он. – Может, сегодня тебе хочется чего-нибудь другого?

– Сегодня мне хочется, чтобы мне не было так плохо.

– А что говорит доктор?

– О, она просто кладезь мудрости: «Первые четыре месяца каждой беременности я проводила в туалете в обнимку с унитазом. Это пройдет, миссис Линли. Это всегда проходит».

– А что делать, пока не прошло?

– Наверное, думать о хорошем. Главное – не о еде.

Линли с любовью смотрел на жену, разглядывал нежный овал ее щеки и изящную ушную раковину. Правда, в лице Хелен появился зеленоватый оттенок, и она с такой силой стискивала подушку, что было ясно: на подходе очередной приступ тошноты. Линли сказал:

– Как бы я хотел взять это все на себя, Хелен!

Она слабо рассмеялась:

– Мужчины всегда так говорят, когда чувствуют себя виноватыми, но при этом отлично понимают, что беременность им не грозит. – Она потянулась к его руке. – Но все равно спасибо. Так ты уходишь? Не забудь позавтракать, Томми.

Он заверил ее, что поест. Да у него и не было шансов избежать приема пищи. Если Хелен по какой-то причине теряла бдительность, то все равно оставался Чарли Дентон – слуга, домоправитель, повар, камердинер, вдохновенный трагик, неутомимый Дон Кихот или кто угодно еще, в зависимости от того, кем он провозгласит себя данным конкретным утром. Он не выпустит Линли за порог, пока тот не позавтракает.

– А ты? – спросил Линли. – Какие у тебя планы? Ты сегодня идешь на работу?

– Честно говоря, не хочется. По-моему, ближайшие тридцать две недели мне лучше вообще не двигаться.

– Давай я позвоню Саймону.

– Не надо. Ему надо разобраться с акриламидом. Результаты должны быть готовы через два дня.

– Понятно. Но может, он обойдется без тебя?

Саймон Олкотт Сент-Джеймс был судебным экспертом и по роду профессиональной деятельности регулярно занимал свидетельское кресло, чтобы подтвердить показания обвинения или подкрепить позицию защиты. В данном случае его привлекли к разбирательству по гражданскому делу: требовалось определить, какое количество акриламида, попавшее в организм через кожу, составляет токсичную дозу.

– Мне нравится думать, что ему без меня не обойтись, – ответила Хелен. – И еще... – Она глянула на Линли с улыбкой. – Я хотела рассказать ему о нашей новости. Кстати, вчера я сказала Барбаре.

– Хм.

– Хм? Томми, и что это значит?

Линли встал с кровати. Он прошел к шкафу, зеркальная дверь которого отразила безобразие, сотворенное им с галстуком. Пришлось развязать узел и начать все сначала.

– Ты хотя бы предупредила Барбару, что больше никто не знает, а, Хелен?

Она медленно села в постели. Это движение не прошло для нее даром, и она со стоном откинулась обратно на подушку.

– Да, я сказала ей. Но теперь, когда она знает, думаю, что можно...

– Я бы предпочел подождать еще некоторое время.

Узел на галстук выглядел хуже, чем в первый раз. Линли сдался, обвинил во всем ткань и выбрал другой галстук. Он чувствовал, что Хелен наблюдает за ним, и знал, что надо как-то обосновать свое решение. Поэтому он сказал:

– Суеверие, дорогая. Если о нашей новости будем знать только мы, то будет меньше шансов, что что-то пойдет не так. Это глупо, знаю. Но такой уж я есть. Я думал, что мы никому не скажем, до тех пор пока... пока не скажем.

– Пока не скажем, – задумчиво повторила она конец его путаной фразы. – Так ты волнуешься?

– Да. Волнуюсь. Боюсь. Нервничаю. Опасаюсь. Не могу больше ни о чем думать. И теряю дар речи. Да, примерно так я себя чувствую.

Хелен ласково улыбнулась.

– Я люблю тебя, милый.

И эта улыбка просила его о дальнейшем признании. Он обязан был сказать все.

– К тому же мы не должны забывать о Деборе, – сказал он. – Саймон правильно все воспримет, но Дебора будет чертовски больно узнать, что ты беременна.

Дебора была женой Саймона. У этой молодой женщины столько раз случались выкидыши, что любое упоминание при ней об успешной беременности казалось преднамеренным проявлением жестокости. Вероятно, Дебора сможет изобразить радость за счастливую пару. Вероятно даже, что на каком-то уровне она действительно почувствует радость. Однако на более глубоком уровне, там, где лежат ее надежды, она почувствует, как раскаленное железо поражения опалит тонкую кожу мечты, на которой и без того почти не осталось живого места.

– Томми, – мягко начала Хелен, – Дебора все равно узнает, раньше или позже. А теперь представь, каково ей будет, когда она вдруг увидит, что я стала носить одежду для беременных и при этом даже не намекнула ей, что у нас будет малыш? Она поймет, почему мы не сказали ей раньше. Тебе не кажется, что в таком случае ей будет еще больнее?

– Я не предлагаю скрывать это так долго, – пошел на попятный Линли. – Просто прошу тебя подождать еще чуть-чуть. Не ради Деборы, а чтобы не сглазить. Я прошу тебя. Ладно?

Хелен, в свою очередь, тоже присмотрелась к мужу. Он нервничал под ее изучающим взглядом, но не отвернулся, а ждал ее ответа. Вместо этого она спросила:

– Милый, а ты рад, что у нас будет ребенок? В самом деле рад?

– Хелен, я в восторге.

Но, еще не закончив фразу, Линли спросил себя: почему же он не чувствует радости? Почему ему кажется, что он взвалил на себя бремя, которого долго избегал?

Глава 4

Джил Фостер с кряхтением выполняла очередное упражнение для мышц таза под требовательные выкрики личного инструктора по дородовой гимнастике, когда в квартиру вошел Ричард. Он выглядел более измученным, чем можно было ожидать, и это неприятно ее кольнуло. Ричард развелся с Юджинией шестнадцать лет назад. С ее, Джил, точки зрения, опознание тела бывшей жены было всего лишь не очень приятной обязанностью, которую Ричарду пришлось выполнить как добропорядочному и сознательному члену общества.

Глэдис, инструктор по дородовой гимнастике (в душе Джил считала ее гибридом олимпийской чемпионки и фитнес-фашистки), командовала:

– Еще десять раз, Джил. Не расслабляйся. Ты еще вспомнишь меня, когда начнутся схватки.

Джил выдавила, задыхаясь:

– Не могу.

– Ерунда. Не думай об усталости. Думай лучше о своем платье. Потом ты скажешь мне спасибо. Давай, последние десять раз.

Платье, о котором шла речь, было свадебным нарядом, творением известного дизайнера. Оно стоило маленькое состояние и висело сейчас на двери в гостиную. Джил повесила его туда, чтобы черпать в нем вдохновение, когда на нее набрасывалось желание поесть или когда фитнес-фашистка Глэдис заставляла ее потеть, пыхтеть и принимать нескромные позы. «Я посылаю тебе Глэдис Смайли, дорогая, – объявила мать Джил, когда узнала, что у нее будет внук. – Она лучший специалист по дородовой гимнастике на юге страны, включая Лондон! Обычно график у нее расписан на год вперед, но я попрошу ее найти для тебя местечко. Упражнения крайне важны. Упражнения и диета, разумеется».

Джил послушалась, и не просто потому, что Дора Фостер приходилась ей матерью, но в основном потому, что та приняла пять сотен родов в домашних условиях, поспособствовав рождению пятисот младенцев. То есть Дора знала, о чем говорит.

Глэдис начала обратный отсчет. Джил потела, как скаковая лошадь, и чувствовала себя коровой, но при виде Ричарда сумела растянуть губы в улыбке. Он с самого начала возражал против «совершеннейшей нелепости» упражнений Глэдис Смайли и по-прежнему не смирился с мыслью, что Дора Фостер примет роды у своей дочери в фамильном доме Фостеров в Уилтшире. Но поскольку Джил пошла на компромисс относительно свадьбы, согласившись на более современный вариант – брак после рождения ребенка, хотя предпочла бы иной порядок событий (помолвка, свадьба и только потом рождение ребенка), то она знала, что в конце концов возьмет в этом вопросе верх. Ведь это она рождает, а не он. И если она хотела, чтобы роды принимала ее мать – акушерка с тридцатилетним опытом работы, значит, так тому и быть. «Ты пока еще не мой муж, дорогой, – с любезной улыбкой напоминала она Ричарду каждый раз, когда он пытался изменить ее решение. – Пока что я еще не поклялась перед всеми любить, почитать и слушаться тебя».

Это был сильный аргумент, и она знала это. Знал и Ричард. Вот почему роды пройдут в соответствии с ее желаниями.

– Четыре... три... два... один... Все! – воскликнула Глэдис. – Отлично поработали. Продолжай в том же духе, и ребенок из тебя выскочит пробкой. Вот увидишь. – Она подала Джил полотенце и кивнула Ричарду, стоявшему в дверях с осунувшимся лицом. – Вы определились с именем?

– Кэтрин Энн, – твердо сказала Джил в тот самый миг, когда Ричард не менее твердо произнес:

– Кара Энн.

Глэдис посмотрела на каждого из них по очереди и сказала:

– Ага. Понятно. Джил, ты молодец. Увидимся послезавтра в это же время.

Ричард пошел проводить Глэдис, а Джил осталась лежать на полу, приходя в себя. Так она и лежала, как кит, выброшенный на берег, когда Ричард вернулся в гостиную. Она сказала:

– Дорогой, я никогда не соглашусь назвать дочь Карой. Да меня засмеют! Что это за Кара, в самом деле? Честное слово, Ричард. Она же ребенок, а не героиня романтической драмы.

При обычных обстоятельствах он бы начал спорить. Он бы сказал: «Кэтрин – слишком скучное имя. Если ей не быть Карой, то не быть и Кэтрин, а нам придется пойти на компромисс и придумать что-то другое».

Именно этим они и занимались с самого первого дня их знакомства, когда в студии Би-би-си Джил столкнулась с мужчиной не менее упрямым, чем она сама. Это был отец Гидеона Дэвиса, о котором она в то время снимала документальный фильм. «Вы можете расспрашивать Гидеона о его музыке, – проинформировал ее Ричард Дэвис во время переговоров по заключению контракта. – Вы можете говорить с ним о скрипке. Но мой сын не будет обсуждать со средствами массовой информации личную жизнь или свое прошлое, и я настаиваю на том, чтобы это правило жестко соблюдалось».

Потому что у его гениального сына не было личной жизни, как узнала впоследствии Джил. А все его прошлое уместилось бы в двух слогах: скрипка. Гидеон – это музыка, а музыка – это Гидеон. Так это было и так будет всегда.

Ричард же был само электричество. Ей нравилось состязаться с ним в остроте ума и силе характера. Она находила это привлекательным и сексуальным, несмотря на огромную разницу в возрасте. Спорить с мужчиной – это же такой мощный афродизиак. Как мало мужчин в жизни Джил были готовы к дискуссии! Особенно это отличало английских мужчин, которые при первом же признаке надвигающейся ссоры уходили в глухую пассивно-агрессивную оборону.

Однако в данный момент Ричард не был расположен к обсуждению имени их дочери, или местоположения земельного участка с домом, который им предстоит приобрести, или цвета обоев в этом новом доме, или программы и даты их свадьбы. Все это были излюбленные предметы их столкновений, но Джил видела, что сейчас ей не придется окунуться в горячее обсуждение достоинств и недостатков той или иной точки зрения.

Бледное лицо Ричарда наглядно свидетельствовало о том, что последние несколько часов дались ему нелегко, и, хотя его упрямая приверженность имени Кара бесила Джил сильнее, чем она предвидела, когда он впервые выдвинул эту идею пять месяцев назад, ей захотелось выразить сочувствие в связи с его недавними переживаниями. Само собой, на языке у нее вертелось совсем другое: «Да что же это такое? Господи, Ричард, эта бездушная женщина бросила тебя двадцать лет назад!» Вместо этого ей достало мудрости ласково спросить:

– Было очень неприятно, дорогой? Как ты себя чувствуешь?

Ричард прошел через комнату и сел на диван. Плечи его подавленно опустились, отчего сутулость стала еще заметнее. Он выдавил из себя:

– Я не смог сказать им.

Джил нахмурилась.

– Не смог сказать... Ты о чем, дорогой?

– О Юджинии. Я не смог сказать им, Юджиния это или нет.

– О-о, – тоненько протянула Джил. – Она так сильно изменилась? Что ж, должно быть, это не так уж странно, а, Ричард? Ты давно ее не видел. И возможно, жилось ей нелегко...

Он качнул головой и уткнулся лицом в ладони, с силой потер лоб.

– Дело не в этом, хотя кто знает, может, она и сильно изменилась.

– Тогда в чем же дело?

– Она сильно пострадала. Мне, конечно, не сказали, что именно произошло, а может, полиция еще и сама не знает. Но выглядела она так, будто по ней проехал грузовик. Она... она... вся раздавлена.

– Боже! – Помогая себе руками, Джил села и сочувственно дотронулась до колена Ричарда. Да, теперь понятно, почему он такой бледный. – Ричард, мне очень жаль. Это такое испытание для тебя.

– Сначала мне показали фотографию, что с их стороны было очень чутко. Но по снимку я не мог сказать ничего определенного, и тогда мне показали тело. Они спрашивали, нет ли у нее каких-то особых примет, чтобы опознать ее. А я не помню. – Его голос был тускл, как потертая медная монета. – Все, что мне пришло в голову, – это фамилия ее дантиста. Только подумай, Джил, я вспомнил фамилию дантиста, но не смог сказать, есть ли у нее родимое пятно или хоть что-нибудь, чтобы подтвердить, что это Юджиния, моя... жена.

«Бывшая жена, – чуть не добавила Джил. – Сбежавшая жена. Жена, которая эгоистично бросила ребенка, и ты растил этого ребенка один. Один, Ричард. Не будем об этом забывать».

– А как звали этого дурацкого дантиста, я помню, – говорил Ричард. – И то лишь потому, что и сам лечился у него.

– Так что же теперь?

– Теперь они сделают рентгеновский снимок, чтобы убедиться в том, что это Юджиния.

– А ты как считаешь?

Он поднял голову. На лице его была написана бесконечная усталость. С непривычным для себя чувством вины Джил подумала, что он, должно быть, не высыпается на ее диванчике в гостиной. И еще раз отметила, какой это был чуткий и великодушный жест с его стороны – оставаться ночевать у нее в эти дни, когда ее срок подходит к концу. У Ричарда уже было два ребенка (хотя в живых оставался только один), и поэтому Джил не ожидала, что он будет так заботиться о ней во время беременности. Но с того самого момента, как у нее появился животик и набухла грудь, Ричард обращался с ней с трогательной нежностью. В ответ Джил раскрыла ему душу и сердце. Беременность объединила их. Эта ячейка, которая у них постепенно складывалась, нравилась Джил все сильнее. Именно о такой близости она мечтала и отчаялась найти среди мужчин своего возраста.

– Я считаю, – подумав, ответил Ричард, – вероятность того, что Юджиния продолжала лечиться у того же дантиста после того, как наш брак закончился, невелика.

«После того, как она оставила тебя», – мысленно поправила его Джил.

– Я не понимаю, как полиция связала тебя с ней. И как они нашли тебя.

Ричард переменял позу. Перед ним на широком пуфике, служившем кофейным столиком, лежали журналы, и он стал перебирать их. На обложке последнего номера «Радио таймс» блестела крупными зубами американская актриса, согласившаяся съмитировать английский акцент (наверняка у нее ничего не выйдет) ради того, чтобы сыграть роль Джен Эйр в очередном воскрешении одноименной и в высшей степени надуманной викторианской мелодрамы. «Тоже мне Джен Эйр, – язвительно подумала Джил. – Эта героиня сто с лишним лет взращивала в слабых умах легковых читательниц совершенно необоснованную веру в то, что любовь порядочной женщины может возвысить мужчину с темным прошлым. Какая наивность!»

Ричард не ответил ей. Она повторила:

– Ричард, я не понимаю. Как они связали тебя с Юджинией? Конечно, она могла сохранить твою фамилию, но Дэвисов не так уж мало, чтобы сразу предположить, что вы с ней когда-то были женаты.

– Это один из полицейских, – сказал Ричард. – Он знал, кто она такая. Еще по тому делу...

Он бездумно отложил «Радио таймс» в сторону, и сверху оказался другой журнал, на обложке которого красовалась сама Джил. Одета по нынешней моде, она стояла среди наря-

женных в костюмы артистов. С этой труппой она сняла свой триумфальный фильм «Отчаянные средства» – сразу после разрыва с Джонатоном Стюартом, чьи клятвенные обещания оставить жену «как только наша Стеф закончит Оксфорд, любовь моя» оказались столь же несостоятельны, сколь неудовлетворительными были его действия в постели. Через две недели после того, как «наша Стеф» сжала грязными ручонками свой диплом, Джонатон выдвинул новое оправдание – необходимость дожидаться, когда несчастная девица «обустроится на новом месте в Ланкастере, любовь моя». Через три дня Джил порвала с ним отношения и с головой ушла в «Отчаянные средства». И вряд ли можно было найти другое произведение, чье название столько же хорошо отражало бы ее эмоциональное состояние в те дни.

Джил спросила, не подумав:

– По какому делу? – и тут же поняла, о каком деле говорит Ричард. Разумеется, было только одно дело, которое имело для него значение. То дело, что разбило его сердце, разрушило семью и бросило тень на двадцать лет его жизни. Джил быстро продолжила: – А, да, полицейские могли запомнить.

– Тот детектив принимал непосредственное участие в расследовании. Поэтому когда он увидел ее имя на водительском удостоверении, то сразу решил найти меня.

– Теперь понятно. – Джил не столько встала, сколько перекатилась на колени, чтобы дотянуться до его поникшего плеча. – Хочешь, я сделаю тебе чаю? Или кофе?

– Я бы не отказался от коньяка.

Джил приподняла одну бровь, но Ричард этого не увидел, поскольку не отрывал глаз от журнальной обложки. А поднятая бровь означала вопрос: «В такой час? Ты, должно быть, пошутил, дорогой». Тем не менее Джил поднялась на ноги и ушла на кухню, где достала из шкафчика бутылку «Курвуазье» и налила в стакан ровно две столовые ложки, сочтя это достаточной дозой для того, чтобы привести Ричарда в нормальное состояние.

Он последовал за ней на кухню и молча взял свой коньяк. Сделав глоток, поболтал оставшуюся в стакане жидкость и медленно произнес:

– У меня перед глазами так и стоит ее тело. Не могу выбросить из головы.

Для Джил это было уже слишком. Ну да, женщина погибла. Смерть ее была ужасной, и это дает повод для сочувствия. Потом еще неприятное мероприятие в полиции с опознанием искалеченного трупа. Но ведь почти за два десятилетия Ричард не получил от бывшей жены ни единой весточки, так почему ее смерть привела его в такое отчаяние? Или он все еще питает к ней какие-то чувства? Или он был не совсем искренним с Джил, когда говорил, что брак их разбит, а осколки он выбросил?

Тщательно подбирая слова, Джил сказала, мягко касаясь плеча Ричарда:

– Да, я понимаю, что для тебя все это ужасно тяжело. Но ты ведь не... ты ведь ни разу не видел ее за все эти годы?

В глазах Ричарда что-то промелькнуло. И тут же ее пальцы самопроизвольно сжались. «Только не повтори ситуацию с Джонатоном, – мысленно пригрозила ему Джил. – Солжешь мне сейчас – и я всему положу конец, Ричард. Я больше не буду жить в мире фантазий».

Он сказал:

– Нет, я ее не видел. Но говорил с ней по телефону, причем недавно. Несколько раз за последний месяц. – Он как будто воочию увидел щит, который выставила Джил, чтобы защитить свое сердце от копья этой новости, и заторопился с объяснениями: – Она сама мне звонила. По поводу Гидеона. Она прочитала о происшествии в Уигмор-холле. Потом он перестал выступать, и она забеспокоилась и позвонила мне – узнать, что с ним. Тебе я не стал говорить об этом, потому что... Я даже не знаю почему. Тогда это не показалось достаточно важным. А главное, я не хотел тревожить тебя лишний раз в эти последние недели... до рождения нашего ребенка. Это было бы несправедливо по отношению к тебе.

Джил захлестнула волна праведного гнева.

– Это переходит всякие границы!

– Прости, – покаянно произнес Ричард. – Мы говорили минут пять... максимум десять, когда она звонила. Я не подумал...

– Я не о том, – перебила его Джил. – Я возмущаюсь не тем, что ты ничего мне не сказал. Я возмущаюсь тем, что она звонила тебе. Как она посмела звонить тебе, Ричард? В один прекрасный день она ушла из твоей жизни – из жизни Гидеона, бог мой! – а потом начинает названивать, когда ей становится любопытно, что это за казус произошел на концерте. Господи, какая наглость!

Ричард ничего на это не ответил. Он просто крутил в руках стакан и разглядывал янтарную пленку, оставляемую коньяком на стекле. Значит, еще не все, догадалась Джил.

– Ричард, в чем дело? Ты что-то утаиваешь от меня. Я права?

И вновь она почувствовала, как в ее душе захлопываются окна и двери, стоит ей заподозрить, что мужчина, с которым она состоит в интимной близости, не столь откровенен, как она требует от него. Просто поразительно, думала она, как унижительный опыт отношений с одним мужчиной может повлиять на все последующие отношения с другими мужчинами.

– Ричард, скажи мне, что еще?

– Гидеон, – ответил Ричард. – Ему я тоже не рассказал о ее звонках. Я не знал, что ему сказать, Джил. Она ведь не просила о встрече с ним, так какой смысл был говорить ему? Но теперь она умерла, и нужно сообщить ему об этом, и меня в ужас приводит мысль, как эта новость может сказаться на нем, при его нынешнем состоянии. Ему может стать хуже.

– Да. Я понимаю.

– Она хотела знать, здоров ли он, Джил. Она спрашивала, почему он не играет. Сколько концертов он вынужден был отменить. Все время спрашивала почему.

– Чего она хотела?

– Только за последние две недели она позвонила мне раз десять, наверное, – сказал Ричард. – Вдруг появилась, вдруг возник этот голос из прошлого, а я-то думал, что уже давно забыл о нем...

Он оборвал себя на полуслове.

Джил похолодела. Ледяной озноб возник у лодыжек и вмиг взлетел до самого ее сердца. Она повторила:

– Думал, что забыл? – и постаралась прогнать причиняющую мучения мысль, но слова уже метались в ее мозгу: «Он все еще любит ее. Она бросила его. Она исчезла из его жизни. Но он продолжал любить ее. Он забрался ко мне в постель. Он соединил наши тела. И все это время он любил Юджинию».

Неудивительно, что он не женился. Остается только один вопрос: почему он сейчас собрался жениться?

Должно быть, он прочитал ее мысли. Или увидел ее лицо. Или почувствовал холод, сковавший ее тело и душу. Во всяком случае, он сказал:

– Потому что все это время я искал тебя, Джил. Потому что я люблю тебя. Потому что я не верил, что в мои годы смогу снова полюбить. И каждое утро, просыпаясь, даже на твоем узком диванчике, я благодарю Бога за чудо твоей любви. Юджиния – часть моего далекого прошлого. Давай не будем делать ее частью нашего будущего.

Но правда заключалась в том – и Джил прекрасно это понимала, – что у них обоих за спиной было прошлое. Они не подростки и поэтому не могут рассчитывать на то, что войдут в свою новую жизнь без бремени былого. Однако Ричард был прав в другом: самым важным для них является будущее. Их будущее и будущее малышки. Кэтрин Энн.

Добираться от Лондона до Хенли-он-Темз нетрудно, особенно в утренние часы, когда почти все машины двигаются в противоположном направлении. И поэтому всего через час

после совещания с Эриком Личем в Хэмпстеде инспектор Томас Линли и констебль Барбара Хейверс свернули с трассы в направлении Хенли.

Старший инспектор Лич, одолеваемый то ли гриппом, то ли жестокой простудой, представил их группе детективов, которые несколько скептически отнеслись к присутствию сотрудников Скотленд-Ярда, но все же охотно посвятили их в текущие проблемы участка: серию изнасилований в районе и поджог коттеджа стареющей актрисы, титулованной и влиятельной особы.

Затем Лич сообщил о предварительных выводах, сделанных в результате вскрытия (анализы крови, тканей и внутренних органов еще не были готовы). В основном эти выводы сводились к перечислению множественных повреждений на теле, которое благодаря сверке стоматологических записей в конце концов было идентифицировано как тело Юджинии Дэвис, возраст шестьдесят два года. Сначала шли переломы: четвертого и пятого шейных позвонков, левого бедра, левого локтя и левой же лучевой кости, правой ключицы и пятого и шестого ребер. Далее перечислялись повреждения внутренних органов: разрыв печени, селезенки и почек. Причиной смерти послужило массивное внутреннее кровоизлияние и шок; предполагаемое время смерти – между десятью часами вечера и полуночью. Результаты трасологической экспертизы будут представлены в ближайшее время.

– Ее отбросило на пятьдесят футов, – сказал Лич детективам, собравшимся в комнате для совещаний и притулившимся кто где: у ксерокса, у сейфов, вдоль увешанных фотографиями стен. – Медэксперты утверждают, что ее переехали как минимум дважды, а возможно, и трижды. Об этом свидетельствуют повреждения на теле и следы на плаще.

При этом сообщении выдавшая виды аудитория всколыхнулась и загудела. Шум перекрыло чье-то ироничное восклицание:

– Ничего не скажешь, милый райончик!

Лич уточнил свои превратно понятые слова:

– Предполагается, что наезд совершила одна и та же машина, а не три разные, Макнайт. И мы будем придерживаться этой версии, пока Ламбет не скажет иного. От первого удара автомобиля она упала на асфальт. Затем водитель переехал ее, двигаясь вперед, потом задним ходом и снова вперед.

Лич указал на несколько снимков, вывешенных на доске. Они запечатлели улицу, какой она была после происшествия.

– Наезд произошел в этой точке, – сказал Лич, ткнув пальцем в фотографию, где были сняты два оранжевых конуса ограждения на асфальте и ряд машин на заднем плане. – А приземлилось тело вот здесь, прямо посреди проезжей части. – Он передвинул палец на другой фотоснимок, где лентой был выгорожен прямоугольный участок улицы. – Дождь частично смыл кровь на месте падения, но все-таки немного крови мы нашли, а также фрагменты кожи и костей. Тем не менее тело обнаружено не там, где сохранились кожа и кости. Оно лежало у поребрика рядом с этим «воксхоллом». Обратите внимание, что оно как будто спрятано под кузов. Мы считаем, что водитель, сбив женщину и покатавшись по телу в свое удовольствие, вышел из машины, оттащил тело в сторону и только потом уехал.

– А не могло ее затянуть под колеса? Под грузовик, например? – Вопрос поступил от констебля, шумно поевавшего китайскую лапшу из картонного стаканчика. – Почему вы отмечаете такую возможность?

– Потому что таковы отпечатки шин на теле, – проинформировал его Лич и потянулся к своему кофе, оставленному на столе, заваленном папками и компьютерными распечатками.

Линли отметил, что в целом Лич ведет себя не так напряженно, как сорока минутами ранее у себя в кабинете, при первом их знакомстве. Он счел это хорошим знаком и стал с большим оптимизмом смотреть на предстоящее сотрудничество со старшим инспектором.

– Но почему не три машины, а одна, сэр? – спросил другой констебль. – Предположим, первый водитель сбивает ее и в панике уезжает. Она в черном, так что следующие двое просто не замечают ее в темноте и переезжают тело, не успев сообразить, что происходит.

Лич глотнул кофе и помотал головой.

– Слишком маловероятно. Каковы шансы, что трое несознательных граждан в одном и том же месте одной и той же ночью наедут на одно и то же тело и ничего об этом не сообщат? К тому же этот сценарий не объясняет, как тело оказалось под «воксхоллом». Есть только одно логичное объяснение, Поташник, и вот почему мы занимаемся этим делом.

Детективы согласно закивали.

– Я бы поставил на того парня, который вызвал полицию, – раздался голос из задних рядов.

– Пичли сразу вызвал адвоката и отказался разговаривать, – сообщил Лич, – и вы правы, от такого поведения скверно пахнет. Однако я думаю, что мы еще услышим от него кое-что интересное. А говорить его заставит его же собственная машина.

– Ущипни «бокстер», и его владелец споет для тебя «Боже, храни королеву», – заметил один из констеблей.

– Именно на это я и рассчитываю, – согласился Лич. – Я не утверждаю, что Пичли и есть тот самый водитель, который сбил женщину. Но куда бы ни подул ветер, Пичли получит свой «порше» не раньше, чем мы узнаем, почему погибшая имела при себе его адрес. Если для того, чтобы выбить из него информацию, нам придется подержать у себя «порше», значит, мы будем держать у себя «порше» и три раза в день пылесосить его бабушкиным пылесосом. А теперь...

И Лич стал распределять задания, отправив добрую половину своей команды на улицу, где произошел наезд. Улица эта состояла из жилых домов на одну или несколько семей, и констеблям предстояло опросить каждого жильца на предмет того, что он слышал, видел, чуял, а также что ему приснилось прошлой ночью. Несколько констеблей Лич послал в лабораторию медицинской экспертизы – следить за ходом исследования машины Юджинии Дэвис, собирать всю информацию, касающуюся отпечатков на теле женщины, сопоставлять эти отпечатки со следами на бампере и капоте «бокстера», задержанного полицией. Эта же группа должна будет оценить все отпечатки шин, найденных в Западном Хэмпстеде и на теле Юджинии Дэвис. Оставшиеся констебли получили задание найти автомобиль с повреждениями на передней части.

– Мастерские, сервисные станции, стоянки, фирмы по аренде автомобилей, улицы, площадки для отдыха на обочинах, – инструктировал их Лич. – Невозможно сбить женщину и уехать с места происшествия без единой вмятины.

– То есть наш «бокстер» здесь явно ни при чем, – заметила женщина-констебль.

– «Бокстер» интересен нам постольку, поскольку с его помощью мы сможем вытягивать из владельца нужную нам информацию, – сказал Лич. – Но на данный момент мы не знаем, не припрятана ли у этого Пичли другая машина. И забывать об этом не следует.

После совещания Лич пригласил Линли и Хейверс к себе в кабинет для личной беседы. Будучи старшим по званию, он дал им указания, но таким тоном, словно речь шла не только об убийстве (как будто этого недостаточно), а о чем-то еще. Но о чем именно, осталось невысказанным. Лич просто передал им адрес Юджинии Дэвис в Хенли-он-Темз и сказал, что начать следует оттуда. С многозначительным видом он заключил, что полагается на их опыт и надеется, что они смогут правильно распорядиться тем, что обнаружат в доме.

– Что он хотел этим сказать, черт побери? – спросила Барбара, когда они въехали на Белл-стрит в Хенли, где на школьной площадке дети делали утреннюю зарядку. – И почему нам дали дом, когда всем остальным придется исходить не одну милю? Что-то здесь не так.

– Уэбберли хотел, чтобы нас привлекли к этому делу. И Хильер дал добро.

– А вот это действительно повод ходить на цыпочках.

Линли не возражал. Хильер не испытывал любви ни к нему, ни к Барбаре. И поведение Уэбберли прошлым вечером заставляло задуматься, но не позволяло сделать какие-либо выводы.

– Думаю, скоро нам все станет ясно, Хейверс. Напомните-ка мне адрес.

– Фрайди-стрит, шестьдесят пять, – ответила она и глянула на карту, разложенную на коленях. – Здесь налево, сэр.

Дом номер шестьдесят пять оказался седьмым от Темзы строением на приятной улочке, где жилые коттеджи чередовались с ветеринарной лечебницей, книжным магазином, стоматологической клиникой и штабом резерва морской пехоты. Меньшего дома Линли в жизни своей не видел, за исключением крохотного обиталища его спутницы-констебля в Лондоне, которое казалось ему более подходящим для хоббита, чем для человека. Выкрашенный в розовый цвет, дом Юджинии Дэвис состоял из двух этажей и мансарды, судя по микроскопическому окошку на фронтоне. Эмалированная табличка извещала, что дом весьма уместно называется «Кукольный коттедж».

Линли нашел неподалеку свободное место для парковки – на противоположной стороне улицы, возле книжного магазина. Пока он выуживал из кармана связку ключей, принадлежавшую погибшей женщине, Барбара улучила минутку и закурила, чтобы оживить кровотоки дозой никотина.

– Когда вы наконец бросите эту ужасную привычку? – спросил ее Линли, проверяя, нет ли на доме сигнализации, перед тем как вставить ключ в замок.

Барбара глубоко затянулась и расплылась в широчайшей улыбке наслаждения, отлично зная, как это раздражает Линли.

– Только послушайте его, – обратилась она к небу. – Может, и есть кто-нибудь более отвратительный, чем бывший курильщик, но я с таким не сталкивалась. Распространитель детской порнографии, обратившийся в день ареста к Иисусу? Тори, борющийся за социальное равенство? Ммм. Нет. Все-таки они недотягивают.

Линли хмыкнул.

– Только не заходите с сигаретой в дом.

– И в мыслях не было.

Барбара сделала три быстрые затяжки и выбросила сигарету.

Линли открыл дверь, и детективы оказались в гостиной. Размером комнатка была с магазинную тележку и обставлена с монашеской простотой. Вряд ли благотворительные учреждения согласились бы принять хоть один из предметов мебели, представленных здесь.

– Вот уж не думала, что кто-то обращает на убранство дома меньше внимания, чем я, – заметила Барбара.

Линли подумал про себя, что дело не в небрежности. Мебель в гостиной была послевоенного образца, то есть создавалась в те годы, когда дизайн интерьеров отошел на второй план, а приоритет был отдан восстановлению столицы, пострадавшей от бомбардировок. У стены стоял потертый серый диван, по соседству – кресло столь же непривлекательного оттенка. Вместе они образовывали зону отдыха вокруг кофейного столика светлого дерева и двух тумбочек, которые кто-то пытался обновить, но не преуспел в этом. Все три лампы, замеченные Линли в комнате, были накрыты абажурами с кисточками, при этом два абажура покосились, а один смотрел на посетителей горелым пятном. Абажур можно было бы повернуть пятном в стене, но хозяйка не стала этого делать. На стенах не висело ни единого украшения, если не считать фотографии над диваном, на которой был изображен несимпатичный ребенок Викторианской эпохи с кроликом в руках. По обе стороны камина (не больше мышьи норки) висели самодельные книжные полки, но в их размещении не было логики – казалось, будто между ними раньше находились другие предметы мебели.

– Ну и нищета, – протянула потрясенная Барбара.

Затянутыми в латекс пальцами она перебирала журналы на кофейном столике. Судя по пейзажам на обложках, журналы эти устарели несколько десятилетий назад, Линли разглядел это даже со своего места у книжных полок.

Хейверс перешла в кухню, которая располагалась сразу за гостиной, а Линли решил заняться книгами.

– И все-таки она не совсем чужда прогресса! – крикнула из кухни Барбара. – У нее автоответчик, инспектор. И огонек мигает.

– Включите прослушивание, – отозвался Линли и достал из нагрудного кармана очки для чтения, чтобы тщательно изучить небогатую библиотеку, выстроившуюся на нескольких полках.

Глубокий и звучный мужской голос произнес:

– Юджиния, это Йен.

Линли снял с полки книгу, озаглавленную «Цветочек», и раскрыл ее. Оказалось, что в руках у него биография некой католической святой по имени Тереза: она родилась во Франции, в семье, где уже было несколько дочерей, пошла в монастырь и умерла совсем юной, не перенесла зиму в келье без отопления. Голос из автоответчика продолжал:

– Прости за то, что погорячился. Позвони мне, ладно? Пожалуйста! Мой мобильник при мне.

За этим последовал телефонный номер с узнаваемым кодом в начале.

– Записала, – сообщила Хейверс из кухни.

– Это номер компании «Селлнет», – сказал Линли и выбрал следующую книгу.

Тем временем зазвучала следующая запись. Сообщение оставила женщина:

– Юджиния, это Линн. Моя дорогая, спасибо за звонок. Жаль, что меня не было дома. Как раз вышла прогуляться. И подумать не могла, что... В общем, все в порядке. Я почти справляюсь. Спасибо, что спросила. Если перезвонишь, расскажу подробнее. Но думаю, ты знаешь, что я сейчас чувствую.

Линли увидел, что держит еще одну биографию, на этот раз – святой по имени Клер, одной из первых последовательниц святого Франциска Ассизского. Она раздала все свое имущество, основала монашеский орден, прожила жизнь в целомудрии и воздержании и умерла в бедности. Линли взял третий том.

– Юджиния, – раздался из кухни третий голос, на этот раз расстроенный и, очевидно, знакомый Юджинии Дэвис, потому что говоривший не стал представляться, а сразу продолжил: – Мне нужно поговорить с тобой. Не мог не позвонить. Я знаю, что ты дома, сними трубку... Юджиния, черт возьми, немедленно сними трубку! – Вздох. – Послушай. Неужели ты и вправду думаешь, что меня радует эта ситуация? Да как я могу... Ответь, Юджиния. – После молчания послышался еще один протяжный вздох. – Что ж. Отлично. Значит, ты предлагаешь спустить историю в унитаз и жить дальше? Ладно. Я сделаю так же.

Сообщение закончилось щелчком.

– Да, тут будет над чем поработать, – поделилась впечатлением Барбара.

– Когда все прослушаем, наберите один-четыре-семь-один и молитесь, чтобы нам повезло.

Третья книга описывала жизнь святой Терезы Авильской. Проглядев текст на задней обложке, Линли убедился в том, что библиотека подобрана в едином тематическом ключе: монастырь, бедность, безжалостная смерть. Линли задумчиво нахмурился.

В кухне заговорил еще один мужской голос и снова без представления приступил прямо к делу:

– Привет, дорогая. Еще спишь или уже куда-то ушла? Я звоню насчет сегодняшнего вечера. Во сколько? У меня есть бутылка кларета, я прихвачу ее, если ты не возражаешь. Только скажи. И... я... я очень жду этой встречи, Юджиния.

– Все, конец, – сказала Хейверс. – Пальцы скрестили, инспектор?

– Метафорически, – ответил Линли, и Хейверс в кухне нажала четыре цифры, чтобы узнать, с какого номера был сделан последний звонок на домашний телефон Юджинии Дэвис.

Линли просмотрел остальные книги – все они оказались жизнеописаниями католических святых-женщин. Недавно изданных книг среди них не было, некоторые вышли почти тридцать лет назад, а то и до войны. Одиннадцать томов чья-то юношеская рука подписала: «Юджиния Виктория Стейнс», на четырех книгах стояла печать: «Монастырь Непорочного зачатия», а пять имели дарственную надпись: «Юджинии с любовью, Сесилия». Из одной из последних пяти книг выпал маленький конверт без марки и адреса. Внутри Линли нашел листок бумаги, датированный девятнадцатью годами ранее. Под датой шло письмо, написанное прекрасным почерком:

Дорогая Юджиния!

Нельзя поддаваться отчаянию. Пути Господни неисповедимы. Нам остается лишь жить, преодолевая все испытания, которые Он ставит на нашем пути, но мы знаем, что за всем этим стоит цель, которую мы пока не в силах постичь. Однако в конце концов мы пойдем, дорогой друг. Ты должна верить в это.

Нам очень не хватает тебя на утренней мессе, и все мы надеемся, что вскоре ты вернешься к нам.

*С христианской любовью,
Сесилия.*

Линли вложил листок обратно в конверт и захлопнул книгу.

– Монастырь Непорочного зачатия, Хейверс! – крикнул он.

– Вы предлагаете мне сменить образ жизни, инспектор? – откликнулась Барбара.

– Только если у вас будет такое желание. А пока запишите это название и найдите адрес монастыря. Нам нужна некая Сесилия, если она еще жива; мне кажется, она имеет непосредственное отношение к этому заведению.

– Сделано.

Линли проследовал на кухню. Здесь все было так же просто, как в гостиной. На первый взгляд кухню не обновляли уже несколько поколений, и единственным бытовым прибором, который с натяжкой можно было назвать современным, оказался холодильник. Но и ему было не меньше пятнадцати лет.

Автоответчик стоял на узком рабочем столе. Рядом в картонной подставке лежали несколько конвертов. Линли немедленно заинтересовался ими, а Хейверс остановилась у противоположной стены, возле квадратного столика с двумя табуретками. Этот стол был предназначен не для принятия пищи, а для выставки: на нем стояли рамки с фотографиями – четыре ровных ряда по три рамки в каждом. С конвертами в руке Линли подошел к констеблю.

– Должно быть, ее дети, инспектор?

На всех фотографиях действительно были запечатлены два ребенка, начиная с самых ранних лет и заканчивая более поздними. На самой первой фотографии мальчик лет пяти держал на руках младенца, который на последующих снимках оказался маленькой девочкой. От первого и до последнего снимка мальчик выглядел так, будто отчаянно хотел угодить фотографу: он таращил глаза и улыбался во весь рот. Девочка же, похоже, вовсе не понимала, что ее фотографируют. Здесь она смотрела направо, там налево, где-то вверх, а где-то вниз. Только однажды – направляемая рукой брата – она обратила взор в объектив.

Хейверс спросила в своей обычной прямолинейной манере:

– Сэр, вам не кажется, что с этой малышкой не все в порядке? И ведь это она умерла, верно? О ней вам говорил суперинтендант? Это она?

– Нужно, чтобы кто-то подтвердил это, – ответил Линли. – Мы не знаем наверняка. Может, это племянница. Или внучка.

– Но вы-то сами как считаете?

– Я считаю, что это она, – кивнул Линли. – Думаю, это она погибла.

Не погибла, а утонула в ванне, подумал он, и, как выяснилось позднее, это не был несчастный случай.

Последний снимок был сделан, вероятно, незадолго до ее смерти. Уэбберли говорил, что девочка умерла в два года, а насколько мог судить Линли, на крайнем снимке ей было именно около двух лет. Но, рассматривая фотографии, Линли понял, что Уэбберли сказал ему не все.

Он тут же насторожился, его подозрения усилились.

Ни то ни другое не доставило ему удовольствия.

Глава 5

Майор Тед Уайли не связал с полицией серебристый «бентли», припаркованный неподалеку от его книжного магазина. Правда, он задумался над тем, что понадобилось роскошному автомобилю на тихой Фрайди-стрит. Такие лимузины заезжали сюда только во время проведения регаты. Но долго размышлять над этим майор не мог. Он как раз пробивал чек молодой домохозяйке со спящим малышом в коляске и поддерживал вежливую беседу. Дама приобрела четыре книги Роальда Даля, явно предназначенные не ей самой, из чего майор Уайли делал вывод, что она принадлежит к тем немногочисленным современным родителям, которые осознают, как важно читать детям вслух. Помимо вреда от курения воспитание в детях любви к чтению было любимой темой Теда. Он сам и его жена читали книжки каждой из трех своих дочерей, хотя, сказать по правде, в Родезии в те далекие годы по вечерам им практически нечем было заняться, кроме чтения. Однако Тед считал, что именно чтение книжек в самые первые годы жизни привило их детям любовь к печатному слову, что впоследствии привело их в лучшие университеты мира.

И поэтому детские книги в руках молодой матери вызвали у Теда умиление. Читала ли она сама эти книжки в детстве? Какой автор нравился ей больше всего? Не удивительно ли, как крепко дети привязываются к однажды услышанной истории и потом требуют, чтобы им читали ее снова и снова?

Вот почему так вышло, что за «бентли» Тед поглядывал лишь краешком глаза. Только и подумал: «Отличный двигатель». Но когда из машины вышли двое и поднялись на крыльцо дома Юджинии, он поторопился распрощаться с покупательницей и подошел к окну, чтобы понаблюдать за ними.

Это была странная пара. Мужчина – высокий, атлетического сложения, белокурый, в безупречном, отлично сшитом костюме такого рода, что с годами становятся только лучше, как хорошее вино. А его спутница была одета в красные кроссовки, черные брюки и просторную шерстяную куртку темно-синего цвета, достигающую ей до колен. Выйдя из машины, женщина тут же закурила, и Тед недовольно скривил губы – производители табачных изделий будут вечно гореть в аду. А элегантно одетый мужчина пошел прямо к двери Юджинии.

Ожидания Теда, что посетитель постучится, не оправдались. Пока женщина с жадностью приговоренного к смерти дымила сигаретой, мужчина достал из кармана какой-то небольшой предмет, который оказался ключом от дома Юджинии, судя по тому, что незнакомец вставил его в замок. Обменявшись парой реплик, двое вошли в коттедж.

Тед застыл от изумления. Сначала неизвестный мужчина в час ночи, затем вчерашняя встреча Юджинии с этим же мужчиной на стоянке, а теперь еще два незнакомца с ключами от дома... Нужно срочно последовать за ними и узнать, что это они себе позволяют.

Он оглядел магазин – не ходят ли между полок потенциальные покупатели, подыскивая себе книгу. Их было всего двое. Старый мистер Хоршем (Тед предпочитал называть его именно старым мистером Хоршем, испытывая тайную радость оттого, что хоть кто-то из знакомых старше его самого) снял с полки толстый том о Египте и не столько рассматривал его, сколько взвешивал на руке. А миссис Дилдей, как обычно, читала очередную главу из книги, которую не собиралась покупать. Таков был ее ежедневный ритуал: она выбирала какой-нибудь бестселлер с полки, уходила в глубь магазина, где стояли кресла, читала одну-две главы, оставляла в качестве закладки чек из универсама и прятала книгу среди подержанных томов Салмана Рушди, где – учитывая интересы и вкусы среднестатистического жителя Хенли – понравившийся ей бестселлер никто не заметит.

Почти двадцать минут Тед ждал, пока эти два клиента покинут магазин, и коротал время, придумывая предлог для вторжения в дом Юджинии. Старый Хоршем наконец купил довольно

дорогую книгу о Египте. Со словами «Воевал я там когда-то» он вынул двадцатифунтовую банкноту из бумажника, который выглядел так, как будто воевал в Египте вместе со своим владельцем. Затем Тед обратил свои надежды на миссис Дилдей. Но эту даму ничто не могло отвлечь от приятного времяпрепровождения. Она прочно устроилась в своем излюбленном кресле и углубилась в книгу. Она захватила с собой термос и с удовольствием прихлебывала чай, будто у себя дома.

Теду хотелось напомнить ей, что для этого существуют публичные библиотеки. Но вместо этого он лишь посылал ей мысленные команды немедленно встать и уйти, не забывая поглядывать в окно, дабы не пропустить ничего из того, что происходит возле коттеджа Юджинии.

Когда он пытался внушить миссис Дилдей, что она должна купить книгу и пойти читать к себе домой, зазвонил телефон. Не отрывая глаз от розового коттеджа, Тед нащупал трубку и снял ее на третьем звонке.

В ответ на его привычное «Книги Уайли» в трубке раздался женский голос:

– Кто говорит?

Он ответил:

– Майор Тед Уайли. В отставке. А вы кто?

– Вы единственный абонент этой линии?

– Что? Это телефонная компания? Какие-то проблемы?

– Сэр, ваш телефонный номер зарегистрирован как последний входящий звонок на аппарат, с которого я вам звоню. Он принадлежит женщине по имени Юджиния Дэвис.

– Верно. Я звонил ей сегодня утром, – сообщил Тед, изо всех сил стараясь не выдать охватившей его тревоги. – Мы договорились поужинать вместе. – А потом задал вопрос, который не мог не задать, хотя уже знал ответ на него: – Что-то случилось? Кто вы?

На секунду его собеседница на другом конце провода прикрыла трубку ладонью и что-то сказала кому-то еще. А потом ответила майору:

– Столичная полиция, сэр.

Столичная... значит, лондонская. И внезапно перед глазами Теда встала картина: Юджиния уезжает вечером в Лондон, по крыше ее «поло» хлещет дождь, из-под колес брызжут фонтаны воды.

– Полиция Лондона? – тем не менее переспросил он.

– Да, – сказал женщина. – Где вы сейчас находитесь, сэр?

– Через дорогу от дома Юджинии. У меня книжный магазин...

Еще одна консультация с прикрытым микрофоном.

– Вы не могли бы зайти в ее коттедж, сэр? Мы бы хотели задать вам несколько вопросов.

– А что... – Тед едва сумел выдать эти слова, но они должны были прозвучать. – Что с Юджинией?

– Или мы можем зайти к вам в магазин, если вам так будет удобнее.

– Нет. Нет. Я сейчас приду. Мне нужно сначала закрыть магазин, но я...

– Хорошо, майор Уайли. Мы задержимся здесь еще на некоторое время.

Тед прошел в дальний конец зала и уведомил миссис Дилдей, что срочное дело вынуждает его закрыть на время магазин. Она вскинула глаза:

– Господи! Надеюсь, с вашей матушкой все в порядке?

Действительно, кончина его матери была самым естественным предположением. Хотя в ее восемьдесят девять лет только перенесенный инсульт не позволял ей заняться кик-боксом.

– Нет-нет. Просто... – Майор замялся. – Просто мне нужно немедленно отлучиться.

Миссис Дилдей внимательно посмотрела на него, но приняла это невнятное объяснение. С натянутыми как струна нервами Тед наблюдал за тем, как она допивает чай, надевает шер-

стяное пальто, натягивает перчатки и – не сделав ни малейшей попытки замаскировать свои действия – убирает роман, который читала, за потрепанный томик «Сатанинских стихов».

Как только она ушла, Тед торопливо поднялся по лестнице к себе в квартиру. Его сердце то трепетало, как мотылек, то гулко билось о грудную клетку. Голова кружилась. Вместе с головокружением пришли голоса, такие реальные, что он обернулся, ожидая увидеть за спиной людей.

Сначала свою фразу повторил женский голос: «Столичная полиция. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов...»

Потом Юджиния: «Нам о многом надо поговорить».

И затем совершенно необъяснимо до него донеслись слова его Конни – из могилы, должно быть: «У тебя нет соперников, Тед Уайли».

«Почему сейчас? – удивился он. – Почему Конни?» Но ответа не было. Были вопросы и то, что предстояло ему сейчас узнать в коттедже напротив.

Пока Линли просматривал конверты, вытащенные из картонной подставки, Барбара Хейверс поднялась по самой узкой на свете лестнице на второй этаж крошечного дома. Там размещались две спальни и древняя ванная комната, объединенные лестничной площадкой размером с кнопку. Обе спальни продолжали тему монашеской скромности, граничащей с нищетой, начатую в гостиной. В первой комнате имелось три предмета мебели: односпальная кровать под темным покрывалом, комод и тумбочка, увенчанная еще одной лампой с кисточками на абажуре. Вторая спальня была переоборудована в комнату для шитья. Здесь Барбара обнаружила второе после автоответчика достижение прогресса – довольно современную швейную машинку. Рядом высилась целая гора крохотных одежек. Барбара приподняла верхние изделия и увидела, что все это – одежда для кукол, тщательно скроенная и еще более тщательно украшенная бисером и искусственным мехом. Ни в комнате для шитья, ни в соседней спальне кукол не было.

Первым делом Барбара обследовала ящики комода, где ее взору предстал скромный (даже по ее спартанским стандартам) набор женского белья: изношенные трусы, столь же изношенные бюстгалтеры, несколько маек, пакетик с колготками. В комнате не было ни шкафа, ни просто вешалки, так что немногочисленные юбки, брюки и платья, имевшиеся у женщины, тоже были сложены в один из ящиков.

В глубине нижнего ящика среди брюк и юбок Барбара нащупала связку писем. Она вытащила их на свет, сняла перетягивавшую их резинку, разложила одно за другим на жесткой кровати и увидела, что все они написаны одним и тем же почерком. Сначала она не поверила своим глазам. Ей потребовалось время, чтобы осознать тот простой факт, что ей знаком этот напористый, решительный почерк.

Некоторые конверты, судя по штампам, были почти двадцатилетней давности. А самый последний, отметила Барбара, был получен десять лет назад. Она взяла этот конверт и достала его содержимое.

Он называл ее «Юджиния, милая моя». Он писал, что не знает, с чего начать. Он говорил то, что всегда говорят мужчины, когда принимают решение, которое, вне всякого сомнения, собирались принять с самого начала: она должна верить, что он любит ее больше жизни, она должна знать и помнить, что часы, проведенные ими вместе, оживили его – сделали его поистине живым, милая моя, впервые за многие годы; ее кожа под его пальцами была как жидкий шелк, пронзенный молнией...

Барбара состроила гримасу, прочитав эти цветистые строки. Она опустила письмо и дала себе время поразмыслить над прочитанным и, главное, над тем, что из этого следовало. «Читать дальше или нет, Барб?» – спросила она себя. Прочитаешь больше – и почувствуешь себя грязной. А не читать – значит проявить непрофессионализм.

И она вернулась к письму. Он вернулся домой, читала она, намереваясь все рассказать жене. Он натянул решимость на колки (Барбару снова передернуло от этого наглого заимствования у Шекспира¹⁰), и образ Юджинии перед его мысленным взором придавал ему сил, чтобы нанести смертельный удар ни в чем не повинной доброй женщине. Но он нашел ее в плохом состоянии, Юджиния, милая моя, в состоянии, описать которое в простом письме он не может, но он все объяснит, выложит перед ней все до мельчайших деталей при следующей же их встрече. Это совсем не значит, что им не быть вместе, милая Юджиния. Это не значит, что у них нет будущего. И это уж точно не значит, что все, что между ними было, ничего не стоит. Потому что это не так.

Заканчивал он свое послание: «Жди меня. Умоляю. Я иду к тебе». И внизу подпись, которую Барбара годами видела на распоряжениях, рождественских открытках, служебных записках и множестве других документов.

Заталкивая письмо в конверт, она наконец-то поняла, что ей показалось странным на юбилее супругов Уэбберли. Оказывается, праздновали они двадцать пять лет фальши.

– Хейверс? – В дверях появился Линли; одной рукой он убирал очки в нагрудный карман, а в другой держал поздравительную открытку. – У меня есть кое-что, подтверждающее одно из сообщений на автоответчике. А вы нашли что-нибудь?

– Махнемся? – предложила она и вручила Линли конверт в обмен на его добычу.

Открытка была написана кем-то по имени Линн, на ней стоял штамп лондонской почты, но обратный адрес отсутствовал. Текст был простым:

Большое тебе спасибо за цветы, дорогая Юджиния, и за твое присутствие, которое так много для меня значит. Жизнь будет продолжаться, я знаю это. Но разумеется, она никогда не будет прежней.

С любовью,

Линн.

Барбара проверила дату: открытка получена неделю назад. Она согласилась с выводом Линли: похоже, открытку писала та же женщина, которая звонила Юджинии Дэвис.

– Черт! – такова была реакция Линли на письмо, переданное ему Барбарой. Он указал на остальные письма, разложенные на кровати. – А эти?

– Все от него, инспектор, во всяком случае конверты подписаны его почерком.

Барбара следила за сменой эмоций на лице Линли. Она видела, что мысли старшего офицера идут в том же направлении, что и у нее: знал ли Уэбберли, что Юджиния Дэвис сохранила эти письма – столь деликатного свойства и потенциально опасные для него? Подозревал ли он, что так может случиться, или знал наверняка? И зачем он устроил так, чтобы Линли и Хейверс занялись этим делом – не для того ли, чтобы иметь возможность вмешаться?

– Как по-вашему, Лич знает о них? – спросила Барбара.

– Он позвонил Уэбберли, как только возникли предположения о том, кем была сбита женщина. В час ночи, Хейверс. О чем это нам говорит?

– И угадайте, кого он послал сегодня утром в Хенли? – Барбара забрала письмо у Линли, чтобы сложить его с остальными. – Итак, что мы будем с ними делать, сэр?

Линли подошел к окну. Посмотрел на улицу. Барбара ожидала услышать от него ответ в соответствии с правилами. Вопрос она задала скорее по привычке, соблюдая иерархию.

– Заберем их с собой, – произнес он.

Она поднялась с кровати.

– Упаковка для вещественных доказательств у вас в машине. Я схожу...

¹⁰ Из «Макбета», акт I, сцена 7, в переводе М. Лозинского.

– Я не это имел в виду, – остановил ее Линли.

Барбара спросила:

– Что? Но вы же сами сказали, что мы заберем...

– Да. Мы заберем их с собой.

Он отвернулся от окна и посмотрел на Хейверс.

Барбара молча уставилась на него. Она отказывалась понимать смысл его слов. «Мы заберем их с собой». Не: «Мы упакуем их как положено и запишем как изъятые вещественные доказательства, Хейверс». Не: «Поосторожнее с ними, Барбара». Не: «Отдадим экспертам, пусть проверят на наличие отпечатков пальцев, вдруг письма читал кто-то кроме получателя, вдруг кто-то нашел их, прочитал и воспылил ревностью, несмотря на их давность, вдруг из-за них кто-то решил отомстить...»

Она проговорила:

– Подождите, инспектор. Не хотите же вы сказать... – но закончить не успела.

В дверь постучали.

Линли открыл дверь пожилому джентльмену в прорезиненной куртке и кепке с козырьком. Тот стоял, засунув руки в карманы. Его румяное лицо испещрили звездочки лопнувших сосудов, а нос был того оттенка розового, который с легкостью превращается в сизый. Но прежде всего Линли обратил внимание на глаза мужчины – ярко-синие, напряженные, тревожные.

Представившись как майор в отставке Тед Уайли, пожилой джентльмен пояснил:

– Мне звонили из полиции... Должно быть, вы один из них... Мне сказали...

Линли попросил его войти в дом, назвал сам и представил Хейверс, которая спускалась в этот момент в гостиную. Майор Уайли неуверенно шагнул внутрь, огляделся, бросил взгляд на лестницу, ведущую на второй этаж, и поднял глаза к потолку, как будто стараясь определить, что искала и что нашла Барбара Хейверс этажом выше.

– Что случилось?

Уайли не стал снимать ни кепку, ни куртку.

– Вы друг миссис Дэвис? – спросил его Линли.

Майор ответил не сразу. Он как будто хотел точно определить значение слова «друг» в контексте его с Юджинией отношений. Наконец он произнес, переводя взгляд с Линли на Хейверс и обратно:

– С ней что-то случилось. Иначе вас бы здесь не было.

– Это вы оставили сообщение на ее автоответчике? О планах на вечер и о вине? – спросила Хейверс.

Она осталась стоять у лестницы.

– Мы собирались... – Уайли заметил, что употребил глагол в прошедшем времени и поправился: – Мы сегодня ужинаем вместе. Она сказала... Вы из лондонской полиции, а она вчера вечером поехала в Лондон. Значит, с ней что-то случилось. Прошу вас, скажите мне, что с ней.

– Присядьте, майор Уайли, – предложил Линли.

Старик не производил впечатления болезненного человека, но нельзя судить о состоянии сердца или о давлении по одному лишь внешнему виду, а Линли не любил рисковать, сообщая людям неприятные новости.

– Вчера шел сильный дождь, – сказал Уайли, обращаясь не столько к полицейским, сколько к себе самому. – Я говорил ей, что в дождь лучше не ехать. И в темное время суток. Темнота сама по себе опасна, а вместе с дождем – вдвойне.

Хейверс пересекла несколько футов, отделяющих ее от майора, и взяла его за руку.

– Прошу вас, садитесь, майор Уайли, – сказала она.

– Что-то серьезное? – отозвался он.

– К сожалению, да, – признал Линли.

– Авария? Я говорил ей, что надо быть осторожной. Она сказала, чтобы я не беспокоился. Она обещала, что мы поговорим. Сегодня вечером. Поговорим. Она хотела поговорить со мной.

Он смотрел не на Линли и не на Хейверс, а на кофейный столик перед диваном, куда усадила его Барбара. Она устроилась рядом с ним на краешке дивана.

Линли сел в кресло. Очень осторожно он произнес:

– Мне очень жаль, но прошлой ночью Юджиния Дэвис погибла.

Уайли повернулся к Линли как будто в замедленном движении.

– Авария, – сказал он. – Дождь. Я не хотел, чтобы она ехала.

Линли не стал разубеждать майора в том, что Дэвис погибла в аварии. В утренних новостях Би-би-си упоминался наезд и бегство с места происшествия, но имени Юджинии Дэвис не называлось, поскольку в то время ее тело еще не было предъявлено на опознание родственникам, да и самих родственников тогда еще не нашли. Он продолжил:

– Она выехала, когда уже стемнело? Вы не знаете, в котором часу она покинула Хенли?

Еле шевеля губами, Уайли выговорил:

– Кажется, около половины десятого. Или в десять. Мы шли от церкви Девы Марии...

– Вечерняя служба? – спросила Хейверс.

Она достала блокнот и ручку и стала записывать разговор.

– Нет-нет, – мотнул головой Уайли. – Службы не было. Она зашла... помолиться? На самом деле я не знаю, потому что... – Тут он снял кепку, как будто вдруг очутился в церкви, и сжал ее обеими руками. – Я не пошел внутрь вместе с ней. Я был с собакой. У меня золотистый ретривер. Дэ Эм. Так ее зовут. Мы ждали во дворе.

– В дождь? – спросил Линли.

Уайли мямлил кепку.

– Собаки не боятся дождя. И ей нужно было прогуляться. Последняя прогулка Дэ Эм перед сном.

Линли задал следующий вопрос:

– Вы можете сказать нам, зачем она поехала в Лондон?

Уайли снова скрутил кепку.

– Она сказала, что у нее назначена встреча.

– С кем? Где?

– Не знаю. Она обещала все рассказать сегодня вечером.

– О встрече?

– Не знаю. Господи! Я не знаю! – Его голос сорвался, но Тед Уайли не зря носил гордое звание майора в отставке. Через миг он овладел собой и спросил: – Как это случилось? Где? Ее занесло? Попала под грузовик?

Линли сообщил ему факты, ограничиваясь основными обстоятельствами, временем и местом, но слово «убийство» предпочел пока не употреблять. И Уайли выслушал его не перебивая, не спросил сразу же, почему полиция столицы интересуется личными вещами женщины, которая стала жертвой в дорожно-транспортном происшествии.

Но немного погодя, когда Линли закончил свои объяснения, Уайли все-таки увидел ряд неувязок. Он по-новому оценил тот факт, что, входя в коттедж, увидел Хейверс спускающуюся по лестнице в латексных перчатках. Он вспомнил, что полиция зачем-то проверяла, кто последний звонил на номер Юджинии Дэвис, набрав один-четыре-семь-один. Прибавил к этому тот факт, что детективы прослушали оставленные сообщения. И тогда он произнес:

– Это не может быть простым несчастным случаем. Иначе зачем вы... Зачем вам приезжать сюда из Лондона... – Его глаза нашли вдалеке какой-то предмет или какого-то человека,

и это видение заставило его выпалить: – Тот парень на стоянке прошлой ночью. Это ведь не несчастный случай?

И он встал с дивана.

Хейверс подскочила вслед за ним и заставила его сесть обратно. Майор послушался, но теперь он вел себя по-другому, как будто одержимый какой-то новой целью. Он больше не мял нервно кепку, а хлопал ею по раскрытой ладони. Приказным тоном, будто обращаясь к подчиненным, он сказал:

– Расскажите мне, что случилось с Юджинией.

По оценке Линли, сердечного приступа в ближайшее время не намечалось, и поэтому он открыл Уайли, что он сам и констебль Хейверс работают в отделе по расследованию убийств. Остальное можно было не говорить. Майору хватит ума, чтобы заполнить пробелы. Затем Линли спросил:

– О каком мужчине на стоянке вы упоминали?

И Уайли без колебаний поведал обо всем, что знал.

К клубу «Шестьдесят с плюсом», где работала Юджиния, он пришел пешком. Вчера вечером он вывел Дэ Эм на прогулку и решил встретить Юджинию после работы и проводить ее домой. Шел дождь. Когда он с ретривером прибыл на место, то увидел, что Юджиния спорит с каким-то мужчиной. Мужчина был не из местных жителей, подчеркнул Уайли, а из Брайтона.

– Она сама вам это сказала?

Уайли покачал головой. Он разглядел номерной знак на автомобиле, когда мужчина уезжал. Все не запомнил, только буквы «ADY».

– Я волновался за нее. Несколько дней она вела себя как-то странно, поэтому я заглянул в справочник регистрационных кодов. Сочетание «ADY» используется в Брайтоне. Машина – «ауди». Темно-синяя или черная. В темноте было не разобрать.

– У вас дома есть справочник регистрационных кодов? – удивился Линли. – Это ваше хобби или что?

– Не дома, а в магазине. В секции «Путешествия». Кое-кто покупает подобные вещи. Может, чтобы занять детей чем-нибудь, чтобы не скучали в машине.

– А-а.

Линли знал эти «а-а» своей напарницы. Она с любопытством взирала на майора. А инспектор продолжил:

– Майор Уайли, вы не вмешались в спор между миссис Дэвис и тем мужчиной?

– Я вышел на стоянку уже в конце их беседы. Услышал только несколько слов – его, не Юджинии, – он говорил на повышенных тонах, почти кричал. Потом он сел в машину. Умчался, когда я еще не успел даже приблизиться. Вот и все.

– Миссис Дэвис сказала вам, кто это был?

– Я не спрашивал.

Линли и Хейверс обменялись взглядом. Потом Хейверс спросила:

– Почему?

– Я ведь уже говорил. Последнее время она вела себя странно, не так, как обычно. Я предположил, что у нее что-то на уме и... – Уайли перевел глаза на свою кепку и с удивлением осознал, что все еще держит ее в руках. Он затолкал ее в карман куртки. – Как бы вам сказать... Я не из тех, кто сует нос не в свои дела. Я решил подождать, пока она сама не расскажет мне то, что захочет рассказать.

– Вы раньше уже видели этого мужчину?

Уайли сказал, что нет, он его не знает и раньше никогда не видел. Но он успел разглядеть собеседника Юджинии и, если детективам интересно, может описать его внешность. Когда полицейские подтвердили, что да, им это очень интересно, Уайли сообщил ряд подробностей: примерный возраст, рост, седые волосы, крупный ястребиный нос.

– Называл он ее Юджиния, – подытожил Уайли. – Они знали друг друга. То есть, – поправился он, – мне так кажется, исходя из того, что я увидел на стоянке: в конце Юджиния прикоснулась к лицу мужчины, а тот отпрянул.

– И все-таки вы не спросили ее, кто это был? – уточнил Линли. – Почему, майор Уайли?

– Мне это показалось... слишком личным, наверное. Я подумал, что она сама скажет, когда будет готова. Если он вообще имел какое-то значение.

– И как вы упоминали, она хотела что-то рассказать вам, – напомнила Хейверс.

Уайли кивнул и протяжно выдохнул.

– Да, она так сказала. Она сказала, что хочет признаться в своих грехах.

– Признаться в грехах, – эхом повторила Хейверс.

Линли подался вперед, не желая замечать многозначительно взгляда Хейверс. Он сказал:

– Можем ли мы сделать из ваших слов вывод, майор Уайли, что между вами и миссис Дэвис завязались близкие отношения? Вы были друзьями? Любовниками? Или вы были обручены?

Его вопрос поверг Уайли в смущение. Он заерзал на диване.

– Это тянется уже три года. Я хотел вести себя уважительно по отношению к ней, не так, как принято у нынешней молодежи, которые ни о чем, кроме секса, не думают. Я был готов к ожиданию. Наконец она сказала, что готова, но что сначала нам нужно поговорить.

– И этот разговор должен был состояться сегодня вечером, – закончила за него Хейверс. – И именно в связи с этим вы ей звонили.

Так и было, подтвердил Уайли.

Затем Линли попросил пожилого джентльмена пройти с ними на кухню. Он сказал, что на автоответчике записано несколько сообщений, и далее предположил, что майор Уайли, имея за спиной три года тесного знакомства с миссис Дэвис – какого бы рода это знакомство ни было, – сможет узнать голос кого-нибудь из звонивших.

На кухне Уайли остановился возле стола и посмотрел на фотографии детей. Он потянулся к одной из них, но потом отдернул руку, вспомнив о том, что оба детектива не просто так надели перчатки. Пока Хейверс подготавливала автоответчик к повторному проигрыванию записей, Линли спросил майора:

– Это дети миссис Дэвис, я полагаю?

– Да, сын и дочь, – сказал Уайли. – Ее дети. Соня умерла довольно давно. А мальчик... Они давно не виделись, Юджиния и мальчик. Не виделись не знаю уж сколько лет. Давным-давно их пути почему-то разошлись. Она никогда не рассказывала мне о нем, сказала только, что не поддерживает с ним связи.

– А Соня? Миссис Дэвис говорила что-нибудь про Соню?

– Только то, что девочка умерла совсем маленькой. Но... – Уайли прочистил горло и шагнул от стола, словно желая отдалиться от того, что ему предстояло сказать: – Гхм... Достаточно одного взгляда на девочку. Неудивительно, что она умерла в детстве. Они... они долго не живут.

Линли нахмурился, недоумевая, как Уайли мог остаться в неведении об истинной причине смерти девочки – то дело широко освещалось во всех газетах. Он спросил:

– Где вы находились лет двадцать назад, майор Уайли? В Англии?

Нет, он был... Уайли задумался, перебирая и располагая по порядку года, которые он провел на службе в армии. Двадцать лет назад он был на Фолклендах. Хотя нет, это было раньше, наверное, тогда он служил в Родезии, хотя от нее не много тогда осталось. А в чем дело?

– Миссис Дэвис никогда не говорила вам, что Соню убили?

Уайли оторвал ошеломленный взгляд от фотографий. Он пробормотал:

– Нет, никогда. Она никогда не говорила... Ни разу. Боже праведный... – Он сунул руку в задний карман брюк и вытащил большой носовой платок, но не воспользовался им, зато обратил внимание на одну странность: – А вы знаете, рамки здесь обычно не стоят. Или это вы их принесли сюда?

– Нет, все стоит так, как было на момент нашего появления здесь, – ответил Линли.

– Они всегда стояли по всему дому. В гостиной. На втором этаже. Здесь. По две-три фотографии тут и там.

Он вытащил из-под стола табуретку и тяжело сел. Выглядел он совсем обессиленным, но тем не менее кивнул Хейверс, стоявшей наготове возле автоответчика.

Пока Тед Уайли слушал сообщения, Линли внимательно следил за выражением его лица. Он старался уловить, какие чувства испытывает майор при звуках двух мужских голосов. Их слова и тон свидетельствовали, что оба звонивших близко знают Юджинию Дэвис. Однако если Уайли пришел к такому заключению и если оно огорчило его, внешне он этого никак не проявил. Только лицо его, и без того румяное, покраснело еще сильнее.

Когда сообщения закончились, Линли спросил:

– Узнаете кого-нибудь?

– Линн, – сказал майор. – Про нее Юджиния говорила. У одной ее подруги по имени Линн внезапно умер ребенок, и Юджиния ездила на похороны. Она сказала мне, как только услышала новость, и еще добавила, что знает, каково сейчас матери, и хотела бы лично выразить соболезнования.

– Услышала новость? – переспросила Хейверс. – От кого?

Этого Уайли не знал. А спросить ему не пришло в голову.

– Должно быть, я предположил, что та подруга сама позвонила ей. Эта, как ее, Линн, – неуверенно произнес он, – уж не знаю, кто она такая.

– Вы знаете, где проходили похороны?

Уайли покачал головой.

– Она уехала на целый день, одна.

– Когда это было?

– В прошлый вторник. Я предлагал ей поехать вместе. Похороны – дело такое, я подумал, компания ей не помешает. Но Юджиния отказалась, сказала, что им с Линн надо поговорить. «Мне нужно увидеться с ней», – сказала она. Вот и все.

– Нужно увидеться? Это ее точные слова? – спросил Линли.

– Думаю, да.

Нужно, размышлял Линли. Не хочется, а нужно. Употребление конкретного слова предполагает конкретный смысл, думал он. А за нуждой, как всем хорошо известно, обычно следует действие.

Но так ли это в данном случае, в этой кухоньке в Хенли, где столкнулось несколько разных «нужно»? Во-первых, Юджинии Дэвис нужно сознаться в своих грехах перед Тедом Уайли. Во-вторых, неизвестному мужчине нужно поговорить с Юджинией, судя по заявлению, оставленному на автоответчике. А Теду Уайли нужно... что?

Линли попросил Хейверс еще раз проиграть сообщения, при этом он обратил внимание на небольшую перемену в позе майора Уайли. Тот прижал руки плотнее к телу, словно готовился к новому испытанию. Инспектор решил не спускать глаз с майора, когда два мужских голоса вновь заявят о том, что им нужно от Юджинии Дэвис.

«Мне нужно поговорить с тобой, – зазвучал один из голосов. – Не мог не позвонить».

И снова это слово «нужно». На что готов пойти мужчина ради такой отчаянной нужды?

«И что бы ты сделал, если бы мы встретились?»

Человек-Язык прочитал вопрос Пламенной Леди без обычного всплеска возбуждения. Уже несколько недель они никак не могли подобраться к этому моменту, несмотря на его первоначальное – ошибочное – предположение, что горячая дамочка будет готова к randevу гораздо раньше Кремовых Трусикиков. Вот вам свидетельство того, что нельзя судить о человеке по его умению общаться в виртуальном пространстве. Пламенная Леди сразу и ярко проявила себя в описательном жанре, но быстро сникла, когда после воображаемых любовных похождения известных личностей (она превзошла саму себя, расписывая жаркое совокупление волосатой рок-звезды и члена монаршей семьи) речь зашла о сексуальных утехах, в которых участвовала бы она сама. В какой-то момент Человек-Язык решил, что вовсе потерял ее, отпугнув своим напором. Он даже начал подумывать перекинуть внимание на следующий вариант – Вкусняшку, но тут Пламенная Леди вновь возникла на киберсцене. Очевидно, ей нужно было время подумать. Но теперь она знает, чего ей хочется. И вот ее вопрос: «И что бы ты сделал, если бы мы встретились?»

Человек-Язык смотрел на слова на экране, отмечая про себя, что его мозг никак не отреагировал на идею об очередном горячем полуанонимном свидании с очередной виртуальной любовницей, да еще так скоро после предыдущей встречи. Он изо всех сил пытался забыть ту встречу, а особенно то, что за ней последовало: автомобили с мигалками, полицейские заграждения по обоим концам его улицы, подозрение в обращенных на него глазах. К тому же полиция – черт бы их всех побрал! – все еще не вернула его «бокстер». Но он правильно себя повел, решил Человек-Язык. Да, все сделал тип-топ.

Полицейские, конечно, не были готовы к тому, что столкнутся с человеком, который разбирается в их штучках, удовлетворенно размышлял он. Они ожидали, что он ляжет перед ними животиком кверху, стоит им только начать задавать вопросы. Они ожидали, что мистер Среднестатистический Гражданин, стремясь доказать, что ему нечего скрывать, немедленно запрыгнет в тележку сотрудничества с полицией и поедет на ней туда, куда захочется копам. И поэтому, когда полиция говорит: «Мы хотим задать вам несколько вопросов», большинство людей тут же начинают выкладывать все подчистую, даже не задумавшись ни на миг, наивно надеясь, что обладают неким иммунитетом от системы правосудия. Хотя не нужно много ума, чтобы сообразить: эта система раздавит такого непосвященного за пять минут, и мокрого пятна не останется.

А вот Человек-Язык не из этих жалких непосвященных. Он знает, что может последовать за сотрудничеством с полицией, за наивной верой, что исполнение гражданского долга равняется невинности. Это полная фигня. И когда копы сказали, что сбитая женщина имела при себе его домашний адрес и «не могли бы вы ответить на несколько вопросов», Человек-Язык сразу понял, к чему ведет эта поездка на тележке, и тут же призвал своего адвоката.

Ну да, Джейку Азоффу не очень понравилось выбираться из кровати посреди ночи. Ну да, Джейк бубнил, что существуют дежурные адвокаты, которым правительство платит именно за подобную работу. Однако Человек-Язык ни за что не отдаст свое будущее – не говоря о настоящем – в руки дежурного адвоката. Верно, услуги такого юриста не стоили бы ему ни пенни, но дежурный адвокат не имеет кровного интереса в том, чтобы Человек-Язык избежал неприятностей, тогда как Азофф имеет: между ним и Человеком-Языком существуют довольно запутанные отношения, связанные с акциями, общими фондами, займами и тому подобными вещами. И вообще, за что он платит Азоффу, как не за предоставление юридической помощи тогда, когда это необходимо?

И все же Человек-Язык беспокоился. Это очевидно. Он может обманывать себя, говоря, что это не так. Он может попытаться отвлечься, отпроситься с работы, сославшись на простуду, и посидеть в Сети несколько часов, посвятив их эротическим фантазиям с абсолютно незнакомыми ему людьми. Но его тело не может лгать, когда в душе поселилась тревога. Тот факт,

что в ответ на вопрос: «И что бы ты сделал, если бы мы встретились?» – он не испытывает никакой физической реакции, говорит сам за себя.

Он напечатал: «Ты не скоро забудешь о нашей встрече».

В ответ высветилось: «Какой ты стеснительный сегодня. Давай-ка поподробнее».

Поподробнее, задумался он. Ну да, именно. Что бы он сделал? Он постарался расслабиться. Пусть мысли текут свободно. Он ведь умеет это делать. Он мастер таких подробностей. А она – такая же, какими были все остальные: в годах и жаждет услышать, что в ней все еще что-то есть.

Он набрал уклончивый ответ: «Где тебя полизать?», надеясь переложить работу на нее.

Она не поддалась: «Эй, это нечестно. Или ты только говорить мастак?»

Сегодня он не мог даже говорить, признался себе Человек-Язык, и она это тоже довольно быстро поймет, если они еще немного пообщаются в том же ключе. Пожалуй, самое время изобразить оскорбленное достоинство. Пора распрощаться с Пламенной Леди до тех пор, пока он не придет в нормальное состояние.

Он напечатал: «Если ты так считаешь, то всего хорошего» – и вышел из чата. Пусть дамочка потомится в собственном соку денек-другой.

Перед тем как отодвинуть от себя клавиатуру, он проверил, как обстоят дела на фондовой бирже, а потом крутанулся на кресле и вышел из кабинета. В кухне стеклянный кувшин кофеварки предложил ему остатки кофе. Человек-Язык вылил кофе в чашку и вдохнул головокругительный аромат. Кофе он любил – черный, крепкий и горький. Совсем как жизнь, подумалось ему.

Неожиданно для себя он невесело хохотнул. В событиях последних двенадцати часов была какая-то ирония, и он был уверен, что если подумает как следует, то обязательно поймет, в чем заключается эта ирония. Но в данный момент он не желал об этом думать. Пока Хэмпстедский отдел по расследованию убийств дышит ему в затылок, он должен сохранять спокойствие и выдержку. В этом-то и состоит секрет его жизни – выдержка. Выдержка перед лицом напасти, перед лицом триумфа, перед лицом...

За кухонным окном что-то мелькнуло. Встревоженный, Человек-Язык выглянул в окно и увидел двух просто одетых, небритых мужчин. Они стояли посреди его садика на заднем дворе. Попали они сюда, очевидно, из парка, который простирался за дворами почти всех домов с восточной стороны Кредитон-хилл. Поскольку между его владениями и парком забора не было, незваные посетители вряд ли испытали особые трудности, чтобы попасть сюда. Придется подумать о заборе.

Двое пришельцев заметили, что он смотрит на них, и одновременно ткнули друг друга локтями. Один из них крикнул:

– Открывай, Джей! Давненько не виделись!

А другой добавил со злорадной ухмылкой:

– Для разнообразия на этот раз мы решили зайти с черного хода.

Человек-Язык выругался. Сначала тело на дороге, затем его «бокстер» забирает полиция, потом и самому пришлось с ними пообщаться. А теперь еще и это. Уже казалось: хуже некуда, а вот поди ж ты. Всегда будь готов к тому, что плохая ситуация может стать еще хуже, сказал он себе и пошел в гостиную открывать стеклянную дверь, ведущую в сад.

– Робби, Brent, – поприветствовал он мужчин таким тоном, будто последний раз встречался с ними на прошлой неделе. На улице было свежо, и оба они нахохлились, притопывали ногами и выпускали белые клубы пара, что придавало им сходство с двумя быками, ждущими выхода матадора. – В чем дело?

– Не пригласишь нас в дом? – спросил Робби. – Не самая подходящая погодка для беседы в саду.

Человек-Язык вздохнул. Каждый раз, когда ему казалось, что он сделал шаг вперед, тут же что-нибудь отталкивало его на два шага назад. Он буркнул:

– А в чем дело?

На самом деле он хотел спросить: «Как вы нашли меня на этот раз?»

Брент хмыкнул:

– Дело обычное, Джей, – но ему хотя бы достало совести изобразить на лице смущение.

Ну а Робби не таков. За ним нужен глаз да глаз. Всегда был таким, таким и останется. Он родную бабушку швырнет под автобус, если решит, что ему это выгодно. Человек-Язык знал, что от этого типа он никогда не дожидается ни чуткости, ни уважения, ни сочувствия.

– Улица перекрыта. – Робби махнул рукой куда-то в сторону входной двери. – Что-то случилось?

– Вчера ночью здесь сбили женщину.

– А-а. – Судя по интонации, для Робби эта информация не была новостью. – И поэтому ты сегодня не пошел на работу?

– Иногда я работаю дома. Я уже говорил тебе.

– Угу, может, и говорил. Но когда это было? Столько воды утекло.

Он не стал рассказывать, что именно произошло с той последней встречи: сколько усилий и времени они с Брентом потратили на то, чтобы отыскать этот дом. Человек-Язык и сам догадывался. Вместо этого Робби сказал:

– А в твоём офисе мне сказали, что ты велел отменить все встречи на сегодня, потому что плохо себя чувствуешь. Говорят, у тебя то ли грипп, то ли простуда. Брент, скажи.

– Вы говорили с... – Человек-Язык оборвал себя на полуслове. Именно такой реакции Робби и добивается от него. Сдержав ярость, он продолжил: – Я думал, мы договорились об этом. Я просил вас не разговаривать ни с кем, кроме меня, когда вы звоните мне на работу. Я дал вам свой личный номер. Нет никакой необходимости говорить с моим секретарем.

– Ты слишком многого просишь, – пожал плечами Робби. – Скажи, Брент.

Последние слова предназначались для того, чтобы напомнить этому последнему – обладавшему куда более скромными умственными способностями – о том, на чьей он должен быть стороне.

Брент послушно закивал:

– Точно. Так ты пригласишь нас в дом, Джей, или что? Холод собачий.

Робби добавил будто мимоходом:

– В конце улицы толкуются три парня из желтой прессы. Ты знаешь об этом, Джей? Что происходит?

Человек-Язык снова проклял все на свете и отошел от двери. Двое мужчин на улице рассмеялись, ударили друг друга по рукам, пересекли мощный дворик и поднялись по ступеням в дом.

– Обратите внимание на решетку перед дверью. Она для того, чтобы ноги вытирать, – указал им Человек-Язык. Вчерашний дождь превратил в болото участок земли между парком и жилыми домами. Робби и Брент, пересекшие этот участок, походили на свинопасов. – У меня тут ковер.

– Сними-ка свои боты, Брент, – не стал возражать Робби. – Как тебе такая идея, а, Джей? Мы оставим обувь на крыльце. Мы с Брентом знаем, как ведут себя приличные гости.

– Приличные гости ждут, когда их пригласят.

– Давай-ка не будем цепляться друг к другу из-за таких мелочей.

Оба посетителя вошли внутрь, и в гостиной сразу не осталось свободного места, такими огромными они были. Хотя пока они ни разу не использовали свое преимущество в размере, Человек-Язык не сомневался, что они не раздумывая прибегнут к любым мерам, лишь бы подчинить его своей воле.

– Чего ждут эти журналисты? – спросил Робби. – Насколько я знаю, таблоиды интересуются только чем-нибудь горячим.

– Ага, – поддакнул Brent и нагнулся к шкафчику с фарфором, чтобы посмотреться в застекленную дверцу как в зеркало. – Чем-нибудь горячим, Джей.

Он потрогал дверцу шкафчика.

– Осторожнее! Это антиквариат.

– В общем, странно выглядели эти парни, что болтались за полицейским заграждением, – продолжал Робби. – Короче, мы перекинулись с ними парой слов, да, Brent?

– Ага. Парой слов перекинулись. – Brent открыл шкафчик и вынул фарфоровую чашку. – Красивая. Она старая, да, Джей?

– Хватит, Brent.

– Он задал тебе вопрос, Джей.

– Ладно. Да, она старая. Начало девятнадцатого века. Если ты собираешься разбить ее, то сделай это поскорее, не играй на моих нервах, хорошо?

Робби хмыкнул. Brent тоже ухмыльнулся и поставил чашку на место, а потом закрыл шкафчик с осторожностью, достойной нейрохирурга, делающего операцию на мозге.

Робби сказал:

– Один из этих журналистов сказал, что копов интересует кто-то из местных. Ему сообщил какой-то знакомый в участке, что мертвая дамочка имела при себе здешний адрес. Но сам адрес нам не сказал. А может, и сам не знал. Или подумал, что мы работаем на его конкурентов.

Человек-Язык подумал, что такое никому и в голову не придет, стоит взглянуть на два этих чучела. Однако он догадывался, к чему клонит Робби, и собрался с духом перед неизбежным.

– Эти таблоиды, – покачал головой Робби. – Они много разного могут раскопать, если их не остановить.

– Ага. Много разного, – согласился Brent. И потом вдруг сказал совсем другим тоном, как будто на секунду вышел из роли подпевалы, которую играл по приказу Робби: – Наша мойка. Надо влить в нее немного бабла.

– Я же «вливал» полгода назад.

– Ну да. Но то было тогда, весной. А сейчас у нас мертвый сезон. Да тут еще такое... дело... ну, ты знаешь.

Brent глянул на Робби.

И вот тогда все стало на свои места.

– Вы взяли кредит под залог бизнеса? – спросил Человек-Язык. – Что на этот раз? Лошади? Собаки? Карты? Я не собираюсь...

– Эй, эй, послушай! – Робби сделал шаг вперед, словно желая подчеркнуть свое преимущество в росте и весе. – Ты должен нам, приятель. Кто тебе помог? Кто устроил нахлобучку всем тем писакам, что шептались у тебя за спиной? Brent даже руку сломал из-за тебя, а я...

– Я знаю, Роб.

– Хорошо. Тогда выслушай нас, о'кей? Нам нужна зелень, и нужна сегодня, а если у тебя с этим проблемы, то говори сразу.

Человек-Язык перевел взгляд с одного незваного гостя на другого и увидел, как перед ним раскатывается его будущее – бесконечный ковер с повторяющимся рисунком. Он снова продаст дом, найдет новое место, устроится, может, даже поменяет работу... и все равно они отыщут его. А отыскав, прибегнут к тому же маневру, который использовали с успехом столько лет. Вот как все будет. Они считали, что он им должен. И они никогда об этом не забудут.

– Сколько вам надо? – спросил он устало.

Робби назвал сумму. Brent мигнул и растянул губы в ухмылке.

Человек-Язык достал чековую книжку и вписал цифры. Потом вывел непрошенных гостей тем же путем, каким они пришли, – через заднюю дверь в сад. Он смотрел им вслед, пока они не скрылись за голыми ветвями платанов на краю парка. Потом он пошел к телефону.

Когда на другом конце провода Джейк Азофф снял трубку, Человек-Язык сделал глубокий вдох, который показался ему ударом в самое сердце.

– Роб и Brent снова нашли меня, – сообщил он адвокату. – Передай полиции, что я буду говорить.

Гидеон

10 сентября

Не понимаю, почему вы не можете выписать мне какое-нибудь лекарство, доктор Роуз. Вы ведь доктор медицины? Или, прописывая мне таблетки от мигрени, вы тем самым распишетесь в собственном шарлатанстве? И пожалуйста, не надо начинать эти утомительные разглагольствования о психотропных медикаментах. Я ведь не прошу вас прописать мне антидепрессанты. Не прошу антибиотиков, транквилизаторов, успокоительных или амфетаминов. Все, что мне нужно, – это простое обезболивающее средство. Потому что в голове моей обычная боль, и ничего иного.

Либби старается помочь. Она заходила недавно и нашла меня там, где я провел сегодня полдня: в спальне, с задернутыми занавесками и бутылкой «Харвис Бристоль крим» под мышкой вместо любимой мягкой игрушки. Она присела на край кровати и попыталась отобрать у меня бутылку со словами: «Если ты собираешься надраться, то хуже хереса ничего не придумаешь – через час тебя вывернет наизнанку».

Я застонал. Ее манера выражаться – причудливая и очень красочная – в моем состоянии могла стать последней каплей. Я прохрипел: «Голова».

Она сказала: «Кошмар. Но от алкоголя тебе станет только хуже. Может, я сумею тебе помочь».

И она положила ладони мне на голову. Кончики ее пальцев, легко касающиеся моих висков, были прохладными, они рисовали небольшие круги, которые успокаивали биение в моих венах. Под ее прикосновениями мое тело расслабилось, и мне показалось, что я вот-вот усну рядом с ней, такой тихой и нежной.

Она прилегла рядом со мной и положила руку мне на щеку. То же самое нежное прикосновение прохладной плоти. «Да ты весь горишь», – удивилась она.

Я пробормотал: «Это головная боль».

Когда ее пальцы нагрелись о мою кожу, она перевернула ладонь тыльной стороной. О прохлада! Какая у нее прохладная ладонь!

Я сказал: «Так приятно. Спасибо, Либби». Я взял ее руку, поцеловал пальцы и снова приложил их к своей щеке.

Она хотела что-то сказать: «Гидеон...»

«Что?»

«Э-э, не обращай внимания». И когда я именно так и поступил, она вдруг продолжила: «Ты когда-нибудь думал о... нас? В смысле, к чему все идет и вообще?»

Я не ответил. Мне кажется, что с женщинами всегда все сводится именно к этому. Местоимение во множественном числе и желание непременно определить статус отношений: если мужчина думает о «нас», значит, существует это «мы».

Она сказала: «Ты обратил внимание на то, сколько времени мы проводим вместе?»

«Довольно много».

«Да ладно. Мы же, типа, спим вместе».

А еще я заметил, что женщины обладают восхитительной способностью констатировать очевидное.

«Так ты считаешь, нам следует продолжать в том же духе? Ты считаешь, что мы готовы для следующей стадии? В смысле, что касается меня, то я совершенно готова. По-настоящему готова к тому, что идет следом. А ты?» С этими словами она закинула ногу мне на бедро, обвила мою грудь руками и едва заметно выгнула корпус, прижавшись ко мне лобком.

И я тут же оказался в прошлом, с Бет, в тот момент наших с ней отношений, когда предполагается, что между мужчиной и женщиной должно произойти нечто большее, но этого не

происходит. По крайней мере, для меня. С Бет этим «большим» было провозглашение долгосрочных взаимных обязательств. Мы тогда уже были любовниками, целых одиннадцать месяцев.

Она работает в Восточной Лондонской консерватории, осуществляет связи с музыкальными школами, откуда консерватория набирает студентов. Раньше она тоже была музыкантом, играла на виолончели. Для консерватории она идеально подходит, потому что говорит, во-первых, на языке инструмента, во-вторых, на языке музыки и, самое главное, на языке детей.

Сначала я не замечаю ее. Не замечаю вплоть до одного происшествия: ученица одной из школ убегает из дома и ищет прибежища в консерватории. Само собой, консерватория не может пойти на это. Как нам становится известно, девочка не может заниматься музыкой дома, так как ей это запрещает приятель матери. Также мы узнаем, что данный приятель имеет свои планы на девочку. В собственном доме она занимает положение чуть более высокое, чем прислуга. И поднимают ее над этим положением сексуальные услуги, которые она вынуждена оказывать и матери, и ее приятелю.

Бет обрушивается на это жалкое подобие родителей как истинная Немезида. Как фурия. Она не ждет, пока с ситуацией разберется полиция или служба социальной помощи. Она берет инициативу в свои руки: нанимает частного детектива, а затем встречается с парой лично. В ходе беседы она дает им понять, что с ними случится, если девочке будет причинен какой бы то ни было вред. А для пущей ясности, чтобы все было понятно, о каком вреде идет речь, она называет вещи своими именами – на языке улицы, к которому привыкли горе-мать и ее приятель.

Разумеется, я при этом не присутствую, но слышу историю во всех подробностях от преподавателей консерватории. Глубина ее привязанности к своим ученикам затрагивает что-то в моей душе. Вероятно, это тоска по любви. Или некое узнавание.

В любом случае, я завязываю с ней знакомство. И мы падаем друг другу в объятия самым естественным образом. Примерно год все идет отлично.

Но потом, как это часто случается, она говорит, что ей хочется большего. Это логично, я знаю. Размышления о следующем шаге присущи и мужчине и женщине, хотя, вероятно, женщина более склонна к этому, ведь ей нельзя забывать о своей основной биологической функции.

Когда между нами возникает вопрос «Что дальше?», я понимаю, что должен бы стремиться к последствиям тех свидетельств любви, которые мы предъявили друг другу. Я осознаю, что ничто не остается неизменным вечно. Что надежда, будто мы вечно будем удовлетворены своими отношениями как два музыканта-профессионала и два страстных любовника, иллюзорна. И все-таки, когда она упоминает брак и детей, я чувствую в душе холодок. Сначала я избегаю этой темы, а когда больше невозможно прятаться за необходимостью спешить на репетицию, звукозапись или интервью, я обнаруживаю, что холодок во мне превратился в мороз и покрыл льдом не только идею о совместном будущем с Бет, но и наше с ней настоящее. Я больше не чувствую к ней того, что чувствовал раньше. Во мне нет страсти и нет желания. Первое время я пытаюсь хотя бы имитировать движения, но во мне ничего этого не осталось. Ни желания, ни огня, ни привязанности, ни любви.

И тогда мы начинаем раздражать друг друга, что, вероятно, происходит всегда, когда мужчина и женщина пытаются сохранить уже нарушенную связь. Это раздражение доводит нас до такого состояния, что мы забываем обо всем, что раньше объединяло нас, мы больше не можем разглядеть гармонию нашего прошлого за разногласиями настоящего. И все заканчивается. Мы заканчиваемся. Она находит другого мужчину, за которого и выходит замуж спустя двадцать семь месяцев и одну неделю после того, как мы с ней разошлись. А я остаюсь как есть.

И поэтому, когда Либби заговорила о следующих стадиях, моя душа содрогнулась. Хотя я знал, что рано или поздно речь об этом пойдет. Если я впускаю женщину в свою жизнь, то этот разговор обязательно состоится.

В моей голове подняли голову всевозможные «зря». Зря я показал ей квартиру в своем доме. Зря я ей эту квартиру сдал. Зря угостил ее кофе. Зря пригласил в ресторан, поставил ту первую запись на ее стерео, запускал с ней змеев с Примроуз-хилл, ел за ее столом, засыпал с ней на одной кровати, так переплетаясь с ней телами, что, когда ее ночнушка случайно задиралась, я чувствовал, как ее голые теплые ягодицы прижимаются к моему вялому пенису.

Кстати, о вялом пенисе: она должна была сразу обо всем догадаться по его состоянию. По этой неизменной, безразличной, ничем не пробиваемой вялости. Но не догадалась. А если и догадалась, то не пожелала сделать вывод, вытекающий из этого безжизненного куска плоти.

Я сказал: «Мне хорошо с тобой вот так».

Она возразила: «Может быть еще лучше. И больше». И шевельнула бедрами три раза, как это делают женщины, бессознательно имитируя то движение, на которое всякий нормальный мужчина захочет ответить проникновением.

Но я, как мы с вами знаем, не являюсь нормальным мужчиной.

Я знал, что должен был возжелать если не самой женщины, то хотя бы акта. Но не возжелал. Ничто не шевельнулось во мне – за исключением ледяной корки, которая поползла вширь и вглубь. Меня накрыло покоем и тенью, и еще у меня возникло ощущение, что я оказался вне своего тела и смотрю вниз, на это жалкое подобие мужчины, и недоумеваю, что, черт возьми, нужно, чтобы заставить этого ублюдка очнуться.

Я снова почувствовал на своей горячей щеке ладонь Либби, услышал ее слова: «Что с тобой, Гидеон?» Она замерла на кровати рядом со мной. Но и не отодвинулась, и страх, что случайное движение с моей стороны может интерпретироваться ею как мое нежелание находиться рядом с ней, заставил меня также сохранять неподвижность.

Я сказал: «Я был у врача. Я прошел все тесты. Для головной боли нет никаких причин. Такое случается».

«Я говорю не о мигрени, Гид».

«А о чем?»

«Почему ты не занимаешься? Ты же все время играл. Ты был как часы. Три часа утром, три часа после обеда. Каждый день я вижу перед домом машину Рафа, так что я знаю, что он бывает здесь, но я не слышала, чтобы хоть один из вас играл».

Раф. Есть у нее эта американская привычка называть всех сокращенными именами. Рафаэль стал для нее Рафом с первой же встречи. Ему это имя совершенно не подходит, если хотите знать мое мнение, но его это прозвище, похоже, вовсе не смущает.

Да, он приезжает каждый день, она верно заметила. Иногда на час, иногда на два или даже на три. В основном он расхаживает по комнате, пока я сижу у окна и пишу. Он потеет, он промокает платком лоб и шею, он поглядывает в мою сторону и, вне всякого сомнения, рисует картины будущего, в котором мое нервическое состояние преждевременно обрывает блестящую карьеру и в котором его репутация как моего музыкального Распутина в общем и целом разрушена. Он видит себя незначительной сноской в книге истории, сноской, набранной таким мелким, нечитаемым шрифтом, что нужно увеличительное стекло, чтобы разглядеть буквы.

Он надеялся обрести бессмертие «через представителя». Сам он, мужчина пятидесяти с лишним лет, неспособен подняться даже до уровня первой скрипки, несмотря на свой талант и все свои усилия, приговоренный собственным страхом сцены, резервуар которого открывал шлюзы и затапливал Рафаэля ужасом каждый раз, когда тот становился перед публикой. Он – блестящий музыкант, родившийся в семье столь же блестящих музыкантов. Но в отличие от остальных членов семьи (все они работают в разных оркестрах, и в том числе его сестра,

которая более двадцати лет играла на электрической гитаре в ансамбле хиппи) Рафаэль преуспел только в передаче своего мастерства другим. Публичные выступления оказались ему недоступны.

Я стал его заявкой на славу, а также той волшебной дудочкой, которой он вот уже два десятилетия приманивал толпы вундеркиндов и их полных надежд родителей. Однако от всего этого придется отказаться, если я не справлюсь с тем, что на меня нашло, если я не разберусь со своими нервами. И неважно, что сам Рафаэль даже не пытался разобраться со своими нервами – скажите мне, ведь это же ненормально, чтобы человек потел так, что ему приходится за день три раза менять рубашку и один раз костюм? Все равно от меня требуют, чтобы я с утра до ночи работал над своей проблемой, в чем бы она ни заключалась.

Рафаэль, как я уже говорил, и есть тот человек, который нашел вас, доктор Роуз. А если быть точным, то он искал вашего отца. После того как неврологи сказали, что физически со мной все в порядке, он решил обратиться к психиатрам. И так, получается, что он вдвойне заинтересован в моем выздоровлении. Во-первых, если вы меня вылечите, я окажусь в неоплатном долгу перед ним, ведь это он препоручил меня вашим заботам. А во-вторых, если моя карьера выдающегося скрипача продолжится, то продолжится и его карьера выдающегося преподавателя музыки и моей музыки. Да, Рафаэль очень и очень хочет видеть меня здоровым.

Вы думаете, что я циничен, доктор Роуз? Новая складка на одеяле моего характера. Но вспомните, что я общаюсь с Рафаэлем Робсоном долгие годы, так что я знаю, что он думает и чего хочет. Может быть, знаю это даже лучше, чем он сам.

Например, я знаю, что ему не нравится мой отец. И я знаю, что отец много раз за эти годы хотел прогнать моего наставника, и останавливало его только то, что мой талант расцветал только в руках Рафаэля. (У него особый стиль преподавания – он не заставляет ученика осваивать заранее сформированный метод игры, а позволяет ему развить собственный.)

«А почему Рафаэлю не нравится ваш отец?» – любопытствуете вы. Вы думаете, уж не враждебность ли между ними заложила основу моей нынешней проблемы.

У меня нет ответа на ваш вопрос, доктор Роуз, по крайней мере такого ответа, который был бы и ясным, и полным. Но я предполагаю, что это связано с моей матерью.

«Рафаэлем Робсоном и вашей матерью?» – уточняете вы и смотрите на меня так внимательно, что я задумываюсь: неужели в моих речах промелькнула какая-то важная для вас мысль?

И я внедряюсь в свою память. Я пытаюсь увидеть, что там. А потом делаю логические заключения из тех крупиц, что удалось мне выудить из тьмы забвения, потому что эти слова, только что сказанные в определенном порядке – Рафаэль Робсон и моя мать, – всколыхнули что-то во мне, доктор Роуз. Я чувствую, как внутри меня расплывается неприятное ощущение. Я прожевал и проглотил что-то гнилое и теперь ощущаю, как во мне поднимается муть последствий.

Что же такое я нечаянно для себя раскопал? Рафаэль Робсон не любит моего отца на протяжении двадцати с лишним лет из-за моей матери. Да. Звучит очень правдоподобно. Но почему?

Вы предлагаете мне вернуться назад во времени к тому моменту, когда они вместе, Рафаэль и моя мать. Но я вижу только этот проклятый черный холст, и если они и были изображены на нем, то краски давно потускнели и осыпались.

«И все же вы поместили рядом имена Рафаэля Робсона и вашей матери, – напоминаете вы, – и раз эта связь имеется, то должны быть и другие связи, пусть незначительные или существующие только в подсознании. Вы думаете о них двоих вместе. Теперь попробуйте увидеть их вместе».

Увидеть их? Вместе? Абсурдная идея.

«Какая ее часть кажется вам абсурдной – чтобы увидеть их или увидеть вместе?» – тут же спрашиваете вы.

Я знаю, к чему вы ведете с обеими альтернативами. Не думайте, что я не знаю. Я должен выбрать между эдиповым комплексом и первородным грехом. Вот что у вас на уме, да, доктор Роуз? Маленький Гидеон не вынес того факта, что его преподаватель музыки a le béguin pour sa mère¹¹. Или, что еще хуже, маленький Гидеон наткнулся на sa mère et l'amoureux de sa mère¹² на месте преступления, при этом l'amoureux de sa mère не кто иной, как Рафаэль Робсон.

«К чему этот жеманный переход на французский язык? – спрашиваете вы. – Разве английский как-то влияет на излагаемые факты? Что вы чувствуете, когда говорите об этом по-английски?»

Все кажется таким нелепым. Смехотворным. Возмутительным. Рафаэль Робсон и моя мать – любовники? Что за глупость! Как она могла прикоснуться к его потной коже? Он и двадцать лет назад потел так, что мог заменить собой поливальную установку в саду.

12 сентября

Сад. Цветы. Господи... Я помню те цветы, доктор Роуз. Рафаэль Робсон пришел к нам в дом с необъятной охапкой цветов. Они предназначены для моей матери, и она там, в доме, значит, уже наступил вечер или она не пошла на работу в тот день.

«Она больна?» – делаете вы предположение.

Я не знаю. Но я вижу цветы. Дюжины цветов. Все разных видов, столько разных цветов, что я не могу назвать и половину. Это самый большой букет, который я видел, и да, должно быть, она больна, потому что Рафаэль несет цветы на кухню и сам расставляет их по вазам, которые принесла для него бабушка. Но бабушка не может остаться с ним и помочь расставить цветы, так как ей надо присматривать за дедушкой. В те дни за ним все время надо было присматривать, я не знаю точно почему.

«“Эпизод”? – спрашиваете вы. – Может быть, у него психический “эпизод”, Гидеон?»

Не знаю. Знаю, что все взвинчены до предела. Мать больна. Дедушка укрылся наверху, и в его комнате постоянно играет музыка, чтобы успокоить его. Сара Джейн Беккет шепчется по углам с жильцом Джеймсом, а если я подхожу к ним слишком близко, она поджимает губы и говорит, чтобы я шел делать уроки, хотя никаких уроков мне не задано. Я замечаю, как на лестнице украдкой плачет бабушка. Я слышу, как где-то за одной из закрытых дверей кричит папа. К нам заглянула сестра Сесилия, и я вижу, как она разговаривает в коридоре с Рафаэлем. А потом появляются эти цветы. Рафаэль и цветы. Охапка цветов, названий которых я не знаю.

Он несет их на кухню, а мне сказано ждать в гостиной. Он задал мне выучить упражнение. Надо же, я помню, что это за упражнение. Гаммы. Гаммы, которые я ненавижу и играть их считаю ниже своего достоинства. Поэтому я отказываюсь их учить. Я пинаю пюпитр. Я кричу, что мне скучно, скучно, скучно, мне надоела эта дурацкая музыка и я не желаю играть ни минуты дольше. Я требую телевизор, требую печенья с молоком. Я требую.

В гостиную вбегает Сара Джейн. Она говорит (и по сей день я помню дословно, что она говорит мне, доктор Роуз, потому что ничего подобного в своей жизни я еще не слышал): «Больше ты не центр вселенной. Веди себя как следует».

«Больше не центр вселенной? – задумываетесь вы. – Значит, это происходит после того, как родилась Соня?»

Должно быть, так, доктор Роуз.

«Можете ли вы сделать какие-то выводы?»

Какие выводы?

¹¹ Возлюбленный его матери (фр.).

¹² Свою мать и ее любовника (фр.).

«Рафаэль Робсон, цветы, бабушка плачет, Сара Джейн Беккет и жилец сплетничают...»

Я не говорил, что они сплетничают. Только то, что они разговаривают, сблизив головы. Может, у них общий секрет? Может, они любовники?

Да-да, доктор Роуз. Я вижу, что возвращаюсь к теме любовников. Не нужно указывать мне на это. И я знаю, к чему вы клоните в этом безжалостном процессе, который ведет нас к моей матери и Рафаэлю. Я вижу, чем закончится этот процесс, если мы хладнокровно исследуем все имеющиеся в нашем распоряжении факты. Факты же таковы: Рафаэль и те цветы, плачущая бабушка и орущий папа, приход сестры Сесилии, перешептывания Сары Джейн и жильца в углу... Я вижу, к чему это ведет, доктор Роуз.

«Тогда что мешает вам произнести это вслух?» – спрашиваете вы, глядя на меня серьезными и искренними глазами.

Ничто мне не мешает, кроме неопределенности.

«Если вы произнесете это, то сможете проверить предположение на слух, понять, похоже ли оно на истину».

Ну хорошо. Хорошо. Моя мать забеременела от Рафаэля Робсона, и вместе они произвели на свет это дитя, Соню. Мой отец понимает, что ему наставили рога... господа, откуда взялось это выражение? Мне кажется, что я играю роль в старинной мелодраме. Так вот, отец догадывается об измене, и крик за закрытыми дверями – это его реакция. Дедушка слышит это, складывает два и два и чуть не срывается в очередной «эпизод». Бабушка плачет, видя хаос между матерью и папой и напуганная возможностью «эпизода» у дедушки. Сара Джейн и жилец сгорают от любопытства и возбуждены происходящим. Для улаживания конфликта в качестве посредника призвана сестра Сесилия, но папа не в силах жить в одном доме с живым свидетельством неверности моей матери, и он требует, чтобы малышку куда-нибудь отослали, удочерили или что-то еще, все равно что. Мать же не может даже слышать об этом и плачет у себя в комнате.

«А Рафаэль?» – подсказываете вы.

А Рафаэль – гордый отец. И несет перед собой огромный букет, как и подобает гордому отцу.

«Каково ваше впечатление от этой картины?» – хотите вы знать.

Я хочу принять душ. И не при мысли о моей матери, которая «на гнусном ложе, дыша грехом, сгнивала в его объятьях»¹³ – простите мне эту аллюзию с «Гамлетом», – а при мысли о нем. При мысли о Рафаэле. Да, я вполне понимаю, что он мог полюбить мою мать и возненавидеть моего отца, который обладал тем, чего желал он сам, Рафаэль. Но чтобы моя мать ответила на его чувства... чтобы она приняла его потное и вечно обоженное солнцем тело в свою постель или туда, где они могли бы совершить акт... Эта мысль слишком невероятна для меня.

«Но, – указываете вы мне, – дети всегда относятся к сексуальной жизни родителей с отвращением, Гидеон. Вот почему увиденные своими глазами половые сношения...»

Я не видел половых сношений, доктор Роуз. Ни между моей матерью и Рафаэлем, ни между Сарой Джейн Беккет и жильцом, ни между бабушкой и дедушкой, ни между отцом и кем-то еще.

«Между отцом и кем-то еще? – быстро вставляете вы. – Кто этот “кто-то еще”? Откуда взялся этот персонаж?»

О боже. Я не знаю. Не знаю.

15 сентября

Сегодня днем я съездил к нему, доктор Роуз. Еще с тех пор, как я раскопал в своей памяти воспоминания о Соне, а потом – о Рафаэле с теми непристойными цветами и о хаосе в доме на

¹³ Шекспир У. Гамлет. Акт III, сцена 4. Перевод А. Кронеберг.

Кенсингтон-сквер, я чувствовал, что мне необходимо поговорить с отцом. Поэтому я поехал в Южный Кенсингтон, где он поселился лет пять назад. Я нашел его в саду при доме, в небольшой теплице, которую он, в числе нескольких других надворных построек, взял под свою опеку с молчаливого согласия соседей. Отец занимался тем, чему обычно посвящал свое свободное время, – возился с крохотными гибридными камелиями, рассматривал в лупу листву, выискивая либо энтомологические захватчики, либо зарождающиеся бутоны, точно не знаю. Отец мечтал создать цветок, достойный показа на цветочной выставке в Челси. А вернее, достойный награды на этой выставке. Менее грандиозные цели он считал бы пустой тратой времени.

Еще с улицы я разглядел его сквозь стеклянные стены теплицы, но, поскольку у меня не было ключей от садовой калитки, мне пришлось пройти через здание. Папина квартира располагалась на верхнем, втором этаже, и, заметив из вестибюля, что его входная дверь распахнута, я поднялся по ступеням наверх, чтобы закрыть ее. Но оказалось, что в квартире расположилась Джил. Она сидела за папиным обеденным столом, подставив под ноги пуфик, принесенный из гостиной, и печатала что-то на своем ноутбуке.

Мы обменялись вежливыми приветствиями (я так и не решил для себя вопрос, о чем может разговаривать мужчина с молодой и беременной любовницей своего отца), и она сообщила мне то, что я уже знал, а именно что папа в саду. Она выразилась следующим образом: «Он нянчится с остальными своими детьми» – и закатила глаза в притворном бессилии. Но эта шутовская фраза про его «остальных детей» прозвучала для меня неожиданно многозначительно, и я никак не мог выкинуть ее из головы, пока шел обратно через квартиру к выходу.

Должно быть, именно из-за этой фразы я впервые обратил внимание на то, что раньше ускользало от меня, хотя в квартире отца я бывал многократно. Стены, комоды, столешницы и полки декларировали один простой факт, о котором я ни разу не отдавал себе отчета. И, зайдя в теплицу, свой разговор с отцом я начал с этого факта, так как мне казалось, что если я смогу добиться от него правдивого ответа, то это станет моим первым шагом к пониманию.

«Добиться?» Разумеется, доктор Роуз, вы сразу ухватились за это слово. Вы ухватились за него и за все из него вытекающее. «Ваш отец не всегда правдив?» – спрашиваете вы меня.

Я никогда об этом не думал. Но теперь задумался.

«К пониманию чего вы стремитесь? – задаете вы еще один уточняющий вопрос. – Первым шагом к пониманию чего станет правдивый ответ вашего отца?»

К пониманию того, что со мной случилось.

«Это связано с вашим отцом?»

Надеюсь, что нет.

Когда я зашел в теплицу, он не взглянул на меня, а продолжал стоять над невысоким растением, согнувшись в пояснице. Я подумал, что тело его, искривленное сколиозом, отлично подходит для его нынешнего увлечения. За последние два года сколиоз стал особенно заметен, и, несмотря на шестьдесят два года, отец кажется мне глубоким стариком из-за усиливающейся сутулости. Я разглядывал его и недоумевал, как Джил Фостер, моложе его почти на тридцать лет, могла воспринимать его как объект сексуального влечения. Что притягивает людей друг к другу? Это всегда было для меня загадкой.

Я спросил: «Папа, почему у тебя в квартире нет ни одной фотографии Сони? – Неожиданная лобовая атака показалась мне наиболее перспективной. – Фотографии, где я снят под самым разным углом и в самые разные моменты моей жизни, со скрипкой и без, десятками громоздятся в твоём доме, но нет ни одной с Соней. Почему?»

Вот тогда он оторвался от цветов, но ответил мне не сразу, а сначала тянул время: достал платок из заднего кармана джинсов и стал тщательно протирать лупу, потом убрал платок, сложил лупу в чехол и отнес его на полку в конце теплицы, где держал садовый инвентарь.

«И тебе доброго дня, – сказал он наконец. – Надеюсь, с Джил ты поздоровался более пространно, чем со мной. Она все еще сидит со своим ноутбуком?»

«Да, на кухне».

«Хм, значит, сценарий продвигается. Она сейчас готовит постановку “Прекрасных, но обреченных”. Я тебе еще не рассказывал? Предложить Би-би-си еще одно произведение Фицджеральда – амбициозный проект, однако она решительно настроена доказать, что американский роман об американцах в Америке можно сделать удобоваримым для британской аудитории. Посмотрим. А как поживает твоя американская подружка?»

Так он называет Либби. Он не признает за ней право на имя, хотя иногда снисходит до того, что называет ее «твоя американочка» или «твоя прекрасная американка». Прекрасной она становится каждый раз, когда нарушает в его присутствии одно из правил приличий, а делает она это часто и почти с религиозным пылом. Либби не выносит церемоний на дух, а папа не простил ее за то, что она назвала его по имени при первой же их встрече. Как не простил он и ее реакцию на новость о беременности Джил: «Ни хрена себе, ты обрюхатил тридцатилетнюю? Круто, Ричард». Конечно, Джил больше тридцати, но эта неточность – мелочь по сравнению с тем, что Либби имела наглость указать на значительную разницу в возрасте Джил и отца.

«Она в порядке», – ответил я.

«По-прежнему гоняет по Лондону на мотоцикле?»

«Да, она по-прежнему работает курьером, если ты это имеешь в виду».

«И как она предпочитает свой “Тартини” – взболтать, но не встряхивать?» Он снял очки, скрестил руки на груди и уставился на меня этим своим взглядом, словно говорящим: «Успокойся, а не то я тебе покажу».

В прошлом этот взгляд не раз пускал меня под откос, а вкупе с отцовскими замечаниями о Либби он должен был бы сбить с меня гонор и сейчас. Но возникшая в моей памяти сестра, возникшая там, где ее не было уже долгие годы, укрепила мой дух и придала сил выступить против попыток отца вновь запутать меня. Я сказал: «Я забыл про Соню. Забыл не только о том, как она умерла, но и о том, что она вообще существовала. Папа, я совершенно забыл, что у меня была сестра. Как будто кто-то взял резинку и стер ее из моей памяти».

«Из-за этого ты пришел сюда? Чтобы спросить про фотографии?»

«Чтобы расспросить о ней. Почему у тебя нет ни одной ее фотографии?»

«И в их отсутствии ты видишь что-то зловещее».

«У тебя есть мои фотоснимки. У тебя целая выставка посвящена дедушке. Есть снимки Джил. Есть даже снимок Рафаэля».

«Рафаэль на том снимке играет второстепенную роль. Там он позирует с Шерингом»¹⁴.

«Да. Хорошо. Но вопрос все равно остается: почему у тебя нет ни одной карточки с Соней?»

Он смотрел на меня секунд пять, прежде чем двинулся с места. И тогда просто отвернулся и стал убирать скамью, на которой возился с рассадой до моего прихода. Он взял веник и смел осыпавшиеся листки и землю в ведро. Закончив с этим, он плотно перевязал пакет с садовой землей, закрыл крышкой бутылку с удобрением и разложил все инструменты по строго соответствующим местам, предварительно очистив каждый из них. Наконец он снял плотный зеленый фартук, в котором работал с камелиями, и только после этого проследовал из теплицы в сад.

В дальнем углу их небольшого сада стоит скамейка, и он направился к ней. Она стоит под каштановым деревом, давно отравляющим жизнь моего отца. «Слишком много тени, – всегда ворчал он. – Что может вырасти в такой тени?»

Однако сегодня отец ничего не имел против тени. Садясь, он поморщился, словно от боли в спине – вполне вероятно, что искривление позвоночника давало о себе знать. Но я не хотел расспрашивать его о здоровье. Он и так достаточно долго избегал ответа на мой вопрос.

¹⁴ Шеринг Генрик (1918–1988) – знаменитый мексиканский скрипач польского происхождения.

Я повторил: «Папа, почему в твоей...»

Он перебил меня: «Это все идеи твоего психиатра? Эта женщина... как ее звать?»

«Ты знаешь, как ее зовут. Доктор Роуз».

Он буркнул: «Дьявол» – и неожиданно для меня поднялся со скамьи. Я подумал, что он собирается рассориться со мной и уйти в дом, лишь бы не говорить о неприятном для себя предмете, но он опустился на колени и стал вырывать сорняки на цветочной клумбе, разбитой возле скамьи. При этом он раздраженно бормотал себе под нос: «Будь моя воля, конфисковал бы землю у тех жильцов, которые не заботятся о своих участках. Нет, ты только посмотри на это болото!»

Ничего похожего на болото там, конечно, не было. Верно, избыточный полив привел к появлению плесени и мха на каменном бордюре, и высоченные фуксии, явно нуждавшиеся в подрезке, намертво сплелись с пышными сорняками. Но в естественной запущенности клумбы было что-то привлекательное. Я присмотрелся к купальне для птиц, сплошь увитой плющом, и к тропинке из редких плоских камней, утонувших в зелени. «А мне нравится», – сказал я.

Папа недоволено фыркнул. Он продолжал полоть, отбрасывая вырванную траву через плечо на посыпанную гравием дорожку. «Ты уже брал в руки Гварнериуса?» – спросил он. Он всегда персонифицирует мою скрипку. Я предпочитаю называть ее по имени мастера, ее сделавшего, а отец превратил мастера в инструмент, как будто у самого мастера не было иной, собственной жизни.

«Нет, не брал».

Он выпрямился, сидя на коленях. «Просто замечательно. Это чертовски замечательно. Вот так великие планы приводят в никуда. Скажи мне, что нам это дает? Какой пользой нас осчастливит это копанье в прошлом, столь дорогое тебе и твоей прекрасной докторше? Твоя проблема лежит в настоящем, Гидеон. Не думаю, что нужно напоминать тебе об этом».

«Она называет мое состояние психогенной амнезией. Она говорит, что...»

«Ерунда. У тебя просто разыгрались нервы. Они у тебя по-прежнему не в порядке. Это случается. Спроси кого угодно. Господи боже мой. Сколько лет не играл Владимир Горовиц? Десять? Двенадцать? И ты что думаешь, эти годы он провел, исписывая тетрадь за тетрадью? Вряд ли!»

«Он не терял способности играть, – пояснил я отцу. – Он боялся публичных выступлений».

«Ты не знаешь, потерял ты способность играть или нет. Ты же ни разу не взял в руки Гварнериуса, ты не можешь знать, потерял ты эту способность или просто боишься, что потерял ее. Любой человек с малой толикой здравого смысла скажет тебе, что ты переживаешь приступ трусости: просто и ясно. И тот факт, что твоя докторша до сих пор не произнесла это слово вслух... – Он вернулся к прополке. – Чушь».

«Ты же сам хотел, чтобы я ходил к ней, – напомнил я ему. – Когда Рафаэль предложил ее кандидатуру, ты поддержал идею».

«Я думал, что она научит тебя справляться со страхом. Вот почему я хотел, чтобы ты прошел у нее курс терапии. Да, кстати, если бы я заранее знал, что во врачебном кресле окажется растреклятая баба, а не мужик, я бы крепко подумал, прежде чем везти тебя туда плакаться на ее груди».

«Я не...»

«Вот что получилось из-за этой девицы, из-за этой чертовой, проклятой, несусветной девицы!» С последним словом отец рванул особенно упорный сорняк и выдрал его из земли вместе с кустом лилий. Он выругался и стал закапывать куст обратно, стараясь исправить причиненный растению ущерб. «Американцы все такие, Гидеон, и я надеюсь, что ты это понимаешь, – увещевал он меня. – Вот что получается, если холить и лелеять целое поколение лентяев и подносить им все на блюдечке, все готовое. Они не знают ничего, кроме искусства развле-

каться и тратить время, и за впустую растроченные годы винят только своих родителей. Это она научила тебя искать во всем виноватых, мой мальчик. Еще немного, и она начнет организовывать ток-шоу, где будут обсуждаться причины твоего нездоровья».

«Ты несправедлив к Либби. Она не имеет к этому никакого отношения».

«Ты был абсолютно здоров, пока не объявилась эта проклятая девица».

«Между нами не было ничего такого, что могло бы привести к возникновению моей проблемы».

«Ты спишь с ней?»

«Папа...»

«Трахаеть ее от души?» При последних словах он обернулся и, должно быть, увидел то, что я предпочел бы скрыть. Он иронично поднял брови: «Ах да. Не она корень твоих проблем. Понимаю. Тогда скажи мне, когда именно, по мнению доктора Роуз, наступит подходящий момент для того, чтобы ты прикоснулся наконец к скрипке?»

«Мы об этом еще не говорили».

Он рывком поднялся на ноги. «Нет, это поразительно! Ты ходишь к ней – сколько? – три раза в неделю на протяжении скольких недель? Трех? Четырех? Но пока еще не улучил минутки, чтобы поговорить собственно о том, ради чего вы встречаетесь? Тебе ничего не кажется странным в таком положении дел?»

«Скрипка... Моя игра...»

«Ты хочешь сказать “не игра”».

«Хорошо. Да. То, что я не играю на скрипке, – это симптом. Папа, это симптом, а не болезнь».

«Скажи это Парижу, Мюнхену и Риму».

«Я сыграю эти концерты».

«Вряд ли, если дела и дальше пойдут с той же скоростью».

«Я считал, что ты одобряешь мои встречи с ней. Ты просил Рафаэля...»

«Я просил Рафаэля помочь. Помочь снова поставить тебя на ноги. Помочь снова вложить инструмент в твои руки. Помочь вернуть тебя в концертные залы. Скажи мне, просто скажи, поклянись мне, убеди меня, что ты получаешь от этого доктора именно такую помощь. Потому что я на твоей стороне в этом деле, сынок. Я на твоей стороне».

«Поклясться в этом я не могу, – сказал я, понимая, что мой голос отразил всю глубину моего собственного неверия. – Я не знаю, какую помощь я от нее получаю, папа».

Он вытер руки о джинсы. Я расслышал, как он тихо выругался, не в силах сдержать переполнявшую его боль, и сказал мне: «Пошли».

Я последовал за ним. Мы вошли в здание, поднялись по лестнице и оказались в его квартире. Джил сделала себе чаю и подняла кружку, приветствуя нас, когда мы проходили мимо. «Гидеон, чаю хочешь? А ты, дорогой?» Я поблагодарил ее и отказался, а папа промолчал. Лицо Джил потемнело, как темнело всегда, когда отец игнорировал ее: она не то чтобы обижалась, а как будто сравнивала его поведение с неким каталогом образчиков достойного поведения, собранных у нее в голове.

Папа прошагал в свой кабинет, ни о чем не догадываясь. Впрочем, его кабинет правильнее было бы назвать комнатой дедушки, потому что там хранилась причудливая, но тем не менее впечатляющая коллекция сувениров и памятных вещей, начиная с пряди детских волос в серебряном футляре до писем от военного командира «великого человека», восхваляющего его поведение в бирманском плену. Иногда я подозреваю, что папа проводит лучшую часть своей жизни, притворяясь, что его отец был нормальным или даже сверхнормальным человеком, а не тем, кем он был, – человеком с надломленной психикой, который более сорока лет прожил, балансируя на грани безумия, и причины этого все предпочитали обходить молчанием.

Отец захлопнул за нами дверь, и сначала я решил, что он привел меня сюда ради панегирика в честь деда. Во мне росла волна раздражения. Я воспринял его действия как еще одну попытку уйти от настоящего разговора.

«Он поступал так и раньше?» – хотели бы вы спросить. Это в высшей степени логичный вопрос.

И я бы ответил: да, он поступал так и раньше. До недавних пор я не придавал этому значения. Да мне и не требовалось придавать этому значение, ведь в наших отношениях центром всегда была музыка, и мы говорили в основном о ней. Репетиции с Рафаэлем, работа в Восточной Лондонской консерватории, сеансы звукозаписи, концерты, гастроли... Мы всегда могли обратиться к музыке. И поскольку музыка поглощала меня всего целиком, меня довольно легко было отвлечь от любой другой темы, направив мои мысли к скрипке. Как продвигается Стравинский? Как насчет Баха? А «Эрцгерцог» по-прежнему не дается? Боже. «Эрцгерцог». Это трио. Оно никогда мне не давалось. Это моя Немезида. Мое Ватерлоо. Да, кстати, именно его я должен был играть в Уигмор-холле. Впервые я вышел с ним на публику и не смог сыграть его.

Ага. Вот видите, как легко меня отвлечь музыкой, доктор Роуз. Я даже сам себя могу отвлечь, так что можете себе представить, сколь незаметно для меня умел уходить от неприятных ему разговоров мой отец.

Но на этот раз ничто не могло заставить меня свернуть с выбранного пути, и папа, по видимому, понял это, потому что он не стал пытаться осчастливить меня рассказом о несравненной храбрости деда в годы пленения или тронуть мои чувства обзором его величественной битвы против ужасного психического заболевания, которое пускало корни в его мозг. И немного погодя я догадался, что дверь он закрыл, дабы мы могли поговорить без помех.

Он сказал: «Ты ищешь грязи, как я понимаю. Психиатры всегда любили покопаться в грязном белье».

«Я стараюсь вспомнить, – возразил я. – Только и всего».

«И как воспоминания о Соне помогут тебе вернуться к инструменту? Доктор Роуз, случайно, не объяснила тебе?»

Вы мне этого не объясняли, а, доктор Роуз? Все ваши объяснения сводятся к тому, что мы должны начать с того, что я помню. Я должен записать все, что найду у себя в памяти, но вы не объяснили мне, как это упражнение сдвинет камень, задавивший мою способность играть.

И какое отношение Соня имеет к моей игре? Она ведь была совсем еще маленькой, когда умерла. Потому что я не смог бы забыть более взрослую сестру, которая ходила бы и говорила, которая играла бы в гостиной, которая строила бы со мной заводи на заднем дворе. Я бы не забыл ее.

Я сказал: «Доктор Роуз считает, что у меня психогенная амнезия».

«Психо... какая?»

Я передал ему то, что вы рассказывали об этом заболевании. Закончил я так: «Поскольку для потери памяти нет никакого физиологического объяснения – а ты знаешь, что неврологи подтвердили это, – значит, причина кроется в другом. А именно в психике, папа, в психике, а не в мозгу».

«Ерунда какая-то», – отмахнулся он, но я слышал, что за этими словами не было ничего, кроме пустой бравады. Он сел в кресло и уставился в пространство.

«Ладно». Я тоже сел перед старым письменным столом с убирающейся крышкой, принадлежавшим моей бабушке. Я рискнул сделать то, чего никогда раньше и не думал делать, потому что не видел в этом необходимости. Я прибегнул к блефу. «Ладно, папа. Согласен. Это ерунда. И что же тогда? Если дело только в нервах и страхе, то, когда я один, мне ничто не должно мешать играть. Когда никто не слышит меня. Когда даже Либби нет дома, когда я уверен, что никто, ни единая живая душа меня не подслушивает. Тогда я смогу играть, верно? А

если окажется, что я не смогу сыграть даже элементарное арпеджио, кто окажется прав? Так вот, я не могу играть, даже когда остаюсь один».

«А ты пробовал, Гидеон?» – спросил отец.

«Как ты не понимаешь? Мне не нужно пробовать. Зачем пробовать, если я и так знаю».

И тогда он отвернулся от меня. Он как будто ушел внутрь себя, погрузился в молчание, и я обратил внимание на то, как тихо в квартире, как тихо на улице, даже ветерок не колышет листву. Наконец тишину нарушили слова отца: «Люди не понимают, как трудно и больно иметь ребенка, пока у них не появится ребенок. Это кажется так просто, но на поверку каждый божий день ох как не прост».

Я не ответил. Говорил ли он обо мне? Или о Соне? Или о том другом ребенке, рожденном в далеком первом браке, той девочке по имени Вирджиния, о которой никто никогда не говорил?

Он продолжил: «Ты отдаешь им свою жизнь, ты бы отдал все, чтобы защитить их. Вот что такое иметь детей, Гидеон».

Я кивнул, но, поскольку он не смотрел в мою сторону, я счел нужным произнести: «Да». Что я хотел подтвердить своим «да», не знаю. Но я чувствовал, что должен сказать хоть что-то.

Этого, похоже, оказалось достаточно. Папа заговорил снова: «Иногда ты не справляешься. Ты не думаешь, что такое может случиться. Тебе такое и в голову не могло прийти. Но это случается. Она появляется ниоткуда и застигает тебя врасплох, и не успеешь остановиться, не успеешь даже отреагировать, пусть глупо и бессмысленно, а она уже взяла над тобой верх. Она, неудача». Он поднял на меня глаза, и взгляд его был полон такой боли, что мне захотелось забрать все свои слова и поступки обратно, лишь бы не причинять ему эти страдания. Разве недостаточно пришлось ему испытать в детстве, юности и во взрослые годы, прошедшие под тиранией отца, чье нездоровье истощало терпение и опустошало запасы преданности? Неужели теперь ему предстояло взвалить на плечи хлопоты о сыне, пошедшем той же дорогой, что и дед? Я хотел взять свои слова обратно. Я хотел пощадить его. Но еще сильнее я хотел вернуть свою музыку. Поэтому я ничего не сказал. Я позволил молчанию лечь между нами, как брошенная перчатка. И когда отец больше не смог выносить вида этой незримой перчатки, он поднял ее.

Он встал и подошел ко мне. На мгновение мне показалось, что он хочет прикоснуться ко мне, но он просто хотел поднять крышку бабушкиного стола. Со своей связки ключей он выбрал маленький ключ и вставил его в замочек центрального внутреннего ящика. Оттуда он достал аккуратную стопку бумаг и отнес ее на свое кресло.

Это был значительный и драматичный момент в наших жизнях, так как я осознавал, что мы пересекли границу, существование которой ни один из нас ранее не признавал. Пока отец перебирал листки, в моем животе началось неприятное движение. По краю поля моего зрения замаячил серебристый полумесяц – неизменный предвестник надвигающейся мигрени.

Отец сказал: «У меня нет ни одной фотографии Сони по самой простой и очевидной причине. Если бы ты задумался над этим хотя бы минуту и если бы ты не находился в таком расстроенном состоянии, как сейчас, ты бы сам догадался, я уверен. Все фотографии забрала твоя мать, когда ушла от нас. Она забрала их все до единой. Осталось только вот это».

Из замусоленного конверта появился квадратик плотного картона. Папа передал его мне. На мгновение я был ошеломлен собственным нежеланием брать из его рук этот снимок, столь много вдруг стала значить моя давно умершая сестра Соня.

Он понял, что меня останавливает. «Возьми, Гидеон. Это все, что у меня осталось от нее».

И я взял фотографию, не смея поначалу взглянуть на нее, боясь того, что я могу там увидеть. Я сглотнул и собрался с духом. Я посмотрел.

Вот что было на той фотокарточке: младенец на руках незнакомой мне женщины. Они сидели на заднем дворике дома на Кенсингтон-сквер, в полосатом шезлонге, выставленном на

солнце. Лицо Сони скрывала тень от фигуры женщины, зато сама женщина была полностью освещена. Она была молодой, со светлыми, очень светлыми волосами. У нее были крупные правильные черты лица. Она была очень красива.

«Я не... Кто это?» – спросил я отца.

«Это Катя, – ответил он. – Это Катя Вольф».

Гидеон

20 сентября

Вот о чем я думал с тех пор, как папа показал мне ту фотографию: если мать забрала все снимки Сони, которые были в доме, почему она оставила этот? Потому ли, что на нем черты Сони, скрытые тенью, были почти неразличимы, а следовательно, не так дороги убитой горем матери... если именно горе заставило ее уйти от нас? Или потому, что на этом же снимке запечатлена и Катя Вольф? Или просто потому, что мать не знала об этом снимке? Дело в том, доктор Роуз, что, глядя на снимок (который теперь у меня и который я покажу вам при нашей следующей встрече), нельзя понять, кто его сделал.

И почему папа хранил эту фотографию, мне тоже не совсем понятно. Ведь на ней центральная фигура – не его дочь, не его родная дочь, погибшая в младенчестве, а юная, улыбающаяся, золотоволосая женщина, которая не приходится, не приходилась и впоследствии не будет приходится ему женой и которая не была и матерью ребенка.

Я спросил у папы, кто такая Катя Вольф, потому что это было самым естественным в данной ситуации. Он рассказал мне, что она была няней Сони. Она немка, добавил он, и в то время довольно плохо говорила по-английски. У нее за спиной был драматичный и наделавший много шума побег из Восточной Германии на самодельном воздушном шаре вместе с ее приятелем, и благодаря этому побегу она приобрела некоторую известность.

Вы знаете эту историю, доктор Роуз? Вряд ли. Полагаю, вам в тот год было не больше десяти лет, и жили вы тогда... где? В Америке?

Я, проживая в Англии, то есть находясь гораздо ближе, чем вы, к тому месту, где все это случилось, почти ничего не помню. А вот судя по папиным словам, в те дни много об этом писали и говорили, потому что Катя и ее приятель предприняли свою попытку не в полях или лесах, где у них было больше шансов незамеченными пересечь границу между Востоком и Западом. Нет, они полетели прямо из Берлина. Парень до окончания их путешествия не дожил. Его подстрелили пограничники. А Катя долетела. И таким образом она получила свои пятнадцать минут славы и стала знаменосцем свободы. Телевизионные новости, первые полосы газет, статьи в журналах, радиоинтервью. В конце концов ее пригласили жить в Англию.

Я внимательно слушал папин рассказ и следил за выражением его лица. Я искал проявлений его чувств, скрытого смысла, я пытался делать выводы и умозаключения. Потому что даже сейчас, при нынешних обстоятельствах – здесь, на Чалкот-сквер, в музыкальной комнате, в пятнадцати футах от Гварнери, вынужтого из футляра (что, разумеется, можно назвать прогрессом, ради бога, доктор Роуз, скажите мне, что это прогресс, хотя я не могу заставить себя поднять инструмент к плечу), – даже сейчас есть вопросы, которые я не в силах задать своему отцу.

«Какие вопросы?» – хотите вы знать.

Вопросы, которые один за другим всплывают в моей голове: кто сфотографировал Катю и Соню? Почему моя мать оставила только этот снимок? Знала ли она о существовании этого снимка? Забрала ли она остальные снимки или уничтожила их? И почему – и это самое главное, – почему отец никогда раньше не говорил со мной о них: о Кате, о Соне, о моей матери?

Очевидно, что он не забыл об их существовании. Ведь при первом моем упоминании о Соне он тут же достал ее фотографию, и, богом клянусь, состояние снимка неоспоримо свидетельствовало о том, что его доставали сотни раз и подолгу держали в руках. Так почему он молчал столько лет?

«Порой люди избегают определенных тем, – говорите вы. – Они не хотят возвращаться к тому, что причиняет им боль».

И что же причиняет отцу такую боль? Сама Соня? Ее смерть? Моя мать? Ее уход? Фотографии?

«Или Катя Вольф».

С чего бы это упоминание Кати Вольф было болезненно для отца? Хотя этому есть очень простое объяснение.

«А именно?»

Вы хотите, чтобы я сам назвал все своими именами, доктор Роуз? Вы хотите, чтобы я написал это. Вы хотите, чтобы я увидел, как буквы сидят на странице, и таким образом оценил, правда это или выдумка. Но что мне это даст, черт возьми? Она держит на руках мою сестру, она прижала ее к своей груди, ее глаза добры, а лицо спокойно. Одно ее плечо оголилось, потому что у платья или блузки слишком свободные лямки, а само платье (или блузка?) яркое, цветастое – желтое, оранжевое, зеленое, синее. И это голое плечо такое гладкое и круглое, и вы правы, это приглашение, и, должно быть, я был слеп, раз сразу не догадался, что если ее снимает мужчина и если этот мужчина – мой отец. . . Хотя это мог быть жилец Джеймс, или дедушка, или садовник, или почтальон, это мог быть любой мужчина, потому что она прекрасна, великолепна, соблазнительна, и даже я, невразумительная пародия на жалкое подобие здорового мужчины, вижу, кто она такая, и что она предлагает, и как она предлагает то, что предлагает. . . То есть если ее фотографирует мужчина, то этот мужчина находится с ней в связи, и я почти уверен в том, какого рода эта связь.

«Так напишите о ней, – советуете мне вы. – Напишите о Кате. Заполните ее именем страницу, если вам это поможет, и посмотрите, куда эта страница приведет вас. И еще, Гидеон. Спросите у вашего отца, нет ли у него других фотографий, которые он мог бы показать вам: семейные фото, фото со свадеб, юбилеев, праздников, случайные снимки. Внимательно рассмотрите их. Вспомните имена всех, кого увидите. Попытайтесь понять, что выражают их лица».

«Я должен искать Катю?» – спрашиваю я.

«Ищите все, что есть на этих снимках».

21 сентября

Папа говорит, что Соня родилась, когда мне было шесть лет. А умерла она, когда мне вот-вот должно было исполниться восемь. Я позвонил ему и задал эти два вопроса. Вы довольны, доктор Роуз? Я не только нашел у быка рога, но и схватился за них.

Когда я спросил у него, как умерла Соня, папа сказал: «Она утонула, сынок». Эта короткая фраза, как мне показалось, далась ему нелегко, и его голос прозвучал глухо, как будто издалека. Мне тоже было трудно задавать эти вопросы, но все-таки я не остановился на этом, а продолжал. Я спросил, в каком возрасте с ней это случилось. Ответ: в два года. Надрыв в его голосе поведал мне, что за эти два года она не только успела занять место в его сердце, но и оставить неизгладимый след в душе.

Этот надрыв и то, что я услышал в нем, возможно, многое объяснили мне о моем отце: его сосредоточенность на мне на протяжении всего моего детства, его решимость предоставить мне все самое лучшее из того, что можно иметь, видеть или испытывать, его неустанную заботу обо мне, когда я начал карьеру артиста, и его настороженность по отношению ко всякому, кто приближался ко мне и кто мог причинить мне какой-либо вред. Потеряв одного ребенка – нет, господи, потеряв двух детей, ведь его старшая дочь, Вирджиния, тоже умерла маленькой, – он не мог допустить потерю еще одного.

Наконец-то я понял, почему он всегда рядом со мной, почему так проникается всеми моими делами, так много внимания уделяет моей жизни и карьере. В раннем возрасте я сумел заявить о том, чего хочу, – хочу скрипку, музыку, и он сделал все, чтобы его оставшийся в живых ребенок получил именно это, как будто, вручая мне мою мечту, он мог продлить годы

моей жизни. Поэтому он работал на двух работах; поэтому он и мать послал на поиски заработка; поэтому он нанял Рафаэля и устроил так, чтобы я мог получить образование дома.

Хотя погодите-ка, ведь все это случилось еще до Сони. Значит, все это не результат ее смерти. Она родилась, когда мне было шесть лет, то есть к этому моменту Рафаэль Робсон и Сара Джейн Беккет уже заняли свои места в нашем доме. И жилец Джеймс уже поселился в одной из комнат. И вот в эту сложившуюся общность людей попадает Катя Вольф, приглашенная, чтобы нянчить маленькую Соню. Значит, вот что могло произойти: эта сложившаяся общность людей вынуждена принять чужачку. Можно сказать, агрессора. И к тому же иностранку. И не просто иностранку, а немку. Да, какое-то время она пользовалась известностью. Но немцы все одинаковы: противник Англии в войне, в плену которой навсегда остался наш дедушка.

И значит, Сара Джейн Беккет и жилец Джеймс шепчутся в углу кухне о ней, а не о моей матери, не о Рафаэле и не о тех цветах. Они шепчутся о ней, потому что такова Сара Джейн, была такой с самого начала – шептуньей. Ее шепот вырастает из ревности, потому что Катя стройна, симпатична, соблазнительна, и Сара Джейн Беккет, с короткими рыжими волосами, свисающими с ее головы как плети, и с телом, не слишком отличным от моего, видит, как мужчины в доме пожирают Катю глазами, особенно жилец Джеймс, который помогает Кате с английским и смеется, когда немка говорит, поеживаясь: «Майн гот, мой труп еще не привык к вашим английским дождям», потому что она путает «тело» и «труп». Когда ее спрашивают, не хочет ли она чаю, она отвечает: «О да, премного благодарю, добровольно выпью чашечку», и мужчины смеются, но смех их – зачарованный. Смех моего отца, Рафаэля, жильца Джеймса и даже дедушки.

Я помню это, доктор Роуз. Я все это помню.

22 сентября

Так где же она была все эти годы, Катя Вольф? Похоронена вместе с Соней? Или похоронена из-за Сони?

«Из-за Сони?» Вы не пропустили этого слова, доктор Роуз. «Почему из-за Сони, Гидеон?»

Из-за ее смерти. Если Катя была ее няней и Соня умерла в два года, то Катя должна была уйти от нас, верно? Мне няня не нужна, потому что мной уже занимаются Рафаэль и Сара Джейн. То есть Катя покинула нас после двух лет работы или даже меньше, и вот почему я забыл ее. Мне же тогда было всего восемь лет, и она была не моей няней, а Сониной, так что мы с ней, наверное, почти не общались. Меня целиком поглощала музыка, а те редкие часы, когда мое внимание и время не занимала скрипка, я посвящал школьным урокам. Я уже дал на тот момент несколько концертов, и в результате меня пригласили на год в Джульярдскую музыкальную школу¹⁵. Представляете? Джульярдская музыкальная школа приглашает мальчика семи или восьми лет!

Про меня говорили: «Будущий виртуоз».

Но я не хотел быть будущим виртуозом. Я хотел быть виртуозом.

23 сентября

Обстоятельства складываются так, что я не еду в Джульярд, несмотря на оказанную честь и на то, что год в стенах этой музыкальной школы мог бы оказать огромное влияние на мое становление как музыканта международного класса. Репутация этого заведения такова, что сотни людей в три раза старше меня сделали бы что угодно ради подобного приглашения, ради того, чтобы воспользоваться бесконечными возможностями, возникающими при получении этого экстраординарного, трансцендентного, бесценного опыта... Но денег нет, а если бы и

¹⁵ Высшее музыкальное учебное заведение, консерватория.

были, я слишком юн, чтобы самостоятельно отправиться в столь далекое путешествие и тем более жить одному в Нью-Йорке. А поскольку моя семья не может переехать туда en masse¹⁶, то эта редчайшая возможность ускользает от меня.

En masse. Да, почему-то я знаю, что en masse – это единственный способ, которым я могу попасть в Джульярд, и даже деньги тут не будут играть роли. Поэтому я говорю: «Пожалуйста, пожалуйста, папа, разреши мне поехать, папа, я должен поехать, я хочу там учиться, я хочу в Нью-Йорк», потому что уже тогда я знаю, что означает Джульярд для моего настоящего и будущего. Папа говорит: «Гидеон, ты же знаешь, мы не можем поехать туда. Один ты не поедешь, а вместе мы не можем». Разумеется, я хочу знать почему. Почему, почему, почему я не могу получить то, чего мне хочется, хотя до этого момента я всегда получал желаемое? Он отвечает (да, доктор Роуз, я хорошо помню его слова!): «Гидеон, весь мир будет у твоих ног. Я обещаю тебе это, сынок, клянусь, что так будет, сын».

Но в Нью-Йорк мы поехать не можем.

Каким-то образом я знаю это, знаю, даже когда прошу снова, и снова, и снова, даже когда я торгуюсь, умоляю, веду себя как никогда плохо, пинаю пюпитр, бросаюсь на обожаемый бабушкой столик в форме полумесяца и отламываю у него две ножки... даже тогда я знаю, что Джульярда не будет, что бы я ни вытворял. Один, со всей семьей, с одним из родителей, в сопровождении Рафаэля или с Сарой Джейн в качестве моего защитника или шпиона – я не поеду в эту музыкальную Мекку.

«Знаете, – повторяете вы за мной. – Знаете еще до того, как стали просить, знаете, когда просите, знаете, несмотря на то что делаете все возможное, чтобы изменить... что? Что вы стараетесь изменить, Гидеон?»

Наверное, реальность. И вы правы, доктор Роуз, не надо ничего говорить, этот ответ ничего нам не дает. Сначала надо определить, какова реальность в понимании семилетнего ребенка?

Скорее всего, эта реальность такова: мы не богаты. Да, мы живем в районе, который не только символизирует деньги, но и требует денег. Наша семья владела этим домом на протяжении многих поколений и удерживает его в собственности только благодаря жильцам, двум работам у отца, работе матери и пенсии деда. Однако у нас не принято говорить о деньгах. Упоминание денег равнозначно упоминанию физиологических отпращиваний за обеденным столом. И тем не менее я знаю, что не поеду в Джульярд, и во мне все сжимается от этого знания. Это ощущение начинается с рук. Потом переходит на желудок. Оно распространяется вверх, в мое горло, и я кричу, о, как я кричу, и я помню слова, вырвавшиеся из моего горла: «Это потому, что она не может поехать!» И сразу после этого я отшвыриваю ногой пюпитр и бросаюсь на столик. Вот как это было, доктор Роуз.

«Она не может поехать?»

Она. Конечно. Должно быть, «она» – это Катя.

26 сентября, 17.00

Снова приезжал папа. Он пробыл у меня пару часов, а затем его сменил Рафаэль. Они не хотели, чтобы их визиты выглядели как дежурства у смертного одра, так что у меня было минут пять между уходом папы и прибытием Рафаэля. Но они не знали, что я видел их в окно. Рафаэль появился на Чалкот-сквер со стороны Чалкот-роуд, и папа перехватил его в саду перед домом. Они остановились у скамейки, чтобы поговорить. То есть говорил в основном отец. Рафаэль слушал. Он кивал и, как всегда, водил пальцами по черепу слева направо, разглаживая то небольшое, что осталось у него от волос. Папа был страстен. Я видел это по его жестикации, он то и дело поднимал руку, сжатую в кулак, к груди, словно собираясь нанести удар. Мне не

¹⁶ Целиком, вместе (*фр.*).

нужно было читать по губам, чтобы понять, о чем речь: я отлично знаю, что приводит его в такое волнение.

Ко мне он пришел с миром. Ни слова о музыке. «Хотел вырваться от нее хоть ненадолго, – вздохнул он. – Я начинаю думать, что в последние месяцы беременности женщины во всем мире становятся абсолютно одинаковыми».

«Ты хочешь сказать, что Джил переехала к тебе?» – спросил я.

«Зачем искушать судьбу?»

Этим риторическим вопросом он дал мне понять, что они с Джил придерживаются своего первоначального плана: сначала родить ребенка, затем объединить дома, ну и потом пожениться, когда уляжется пыль, поднятая двумя первыми этапами. Такая нынче мода установилась в построении отношений между мужчиной и женщиной, а Джил следит за модой. Но иногда мне кажется, что папа не слишком приветствует столь радикальное отличие от предыдущих его браков. В душе он приверженец традиций: как мне кажется, для него нет ничего важнее, чем семья, и он знает только один способ, как создавать семью. Думаю, что как только он услышал о беременности Джил, так тут же упал на колени и заявил о своих правах на нее. Иной картины мне не представить. Более того, я знаю, что он именно так и поступил со своей первой женой. Он не в курсе того, что я осведомлен об этом, мне рассказал их историю дедушка. Папа встретил ее, когда служил в армии (такова, кстати, была предназначенная ему карьера), во время отпуска. Она забеременела от него, и он женился на ней. Коль на этот раз он не пошел таким же путем, то я делаю вывод, что верх взяла Джил.

«Она спит в любое время суток, когда только сможет, – сообщил он мне. – В последние шесть недель всегда так. Эти младенцы такие своевольные, и если им вдруг приспичит бодрствовать с полуночи до пяти часов утра... – Он махнул рукой. – Тогда ты получаешь шанс, которого ждал всю жизнь: наконец-то прочитать “Войну и мир”».

«Ты сейчас живешь у нее?»

«Отбываю срок на диване».

«Для твоей спины это не очень хорошо, пап».

«Не надо лишний раз напоминать мне об этом».

«Вы уже договорились об имени?»

«Я по-прежнему хочу, чтобы девочку звали Кара».

«А она по-прежнему хочет...» И тут меня осенило. Догадка обрушилась на меня с такой силой, что я с трудом смог продолжить: «Она по-прежнему настаивает на Кэтрин?»

Наши взгляды встретились, и между нами возникла она, та девушка с фотографии, возникла как будто во плоти, близкая и бесконечно привлекательная. И я проговорил, хотя ладони мои взмокли, а в желудке зажглась первая искра надвигающегося пожара: «Но тебе это имя – Кэтрин – будет все время напоминать о Кате?»

Вместо ответа отец встал и пошел делать кофе, причем отдался этому делу со всей обстоятельностью. Он неодобрительно отозвался о моем выборе молотого кофе и пространно описал, как зерна теряют всякую свежесть в процессе промышленного помола. Затем он поднял неисчерпаемую тему о вреде, наносимом новыми кафе «Старбакс» атмосфере района, в котором он проживает.

А тем временем боль в моем желудке медленно, но верно, как и было запланировано, спустилась в кишечник и начала творить там хаос. Слушая, как отец перекинулся со «Старбакс» на американизацию глобальной культуры, я прижимал руки к животу, заставляя уйти боль и тревогу, потому что в противном случае папа победит.

Я позволил ему подробно осветить все темы, связанные с Америкой: международные конгломераты доминируют в бизнесе, голливудские мегаломаньяки определяют формы искусства, астрономические и откровенно непристойные зарплаты становятся мерой капиталистического успеха. Когда он почти истошил красноречие по данным вопросам, о чем я догадался

по тому, что он стал чаще прикладываться к чашке с кофе, я повторил свой вопрос, только на этот раз не в форме вопроса, а в форме утверждения: «Катя, – сказал я. – Кэтрин звучит очень похоже».

Отец вышел на кухню, чтобы слить в раковину кофейную гущу. Он неспешно вернулся в музыкальную комнату. Потом вдруг выпалил: «Будь оно все проклято! Гидеон, покажи мне. – И потом: – А-а, так вот что ты считаешь прогрессом!»

Это он увидел, что Гварнери вновь лежит в футляре, и, хотя футляр не был закрыт, он каким-то образом догадался, что я еще не пытался играть. Он взял в руки инструмент, и отсутствие свойственной ему ранее почтительности в обращении со скрипкой показало мне, насколько он рассержен – или возбужден, раздражен, разъярен, напуган, обеспокоен. Он протянул мне инструмент, сжав пальцами гриф, так что изумительный завиток выходил из его кулака как надежда, обвившая невысказанную мечту. Он сказал: «На. Возьми. Покажи мне, где мы сейчас находимся. Покажи, куда тебя привели недели копания в коросте прошлого. Ноты будет достаточно, Гидеон. Одной гаммы. Одного арпеджио. Или двух-трех тактов из любого концерта, на твой выбор, хотя я понимаю, что на данной стадии это было бы чудом. Ну, Гидеон? Слишком сложно? Тогда, может, небольшой фрагмент сонаты?»

Внутри меня полыхал огонь, постепенно превращаясь в кусок угля. Раскаленный добела, до синевы, переливающийся жаром, он кислотой разливался по моему телу.

И да, да, я понимаю, что сделал отец, доктор Роуз. Не нужно указывать мне на это. Я сам прекрасно это вижу. Но в тот момент я мог лишь выдавить: «Я не могу. Не заставляй меня. Я не могу», как девятилетний ребенок которого просят исполнить произведение, никак ему не дающееся.

Тогда папа пошел другим путем: «Возможно, это слишком легко для тебя. Ты выше этого, Гидеон. Это оскорбление твоему таланту. Тогда давай начнем с “Эрцгерцога”, что скажешь?»

Давай начнем с «Эрцгерцога». Кислота разъедала меня. После того как боль связала узлом мой кишечник и превратила меня в беспомощное корчащееся ничтожество, осталось обвинение. Это я виноват. Это я довел себя до такой ситуации. Бет составляла программу для концерта в Уигмор-холле, и она, сама невинность, предложила: «Как насчет “Эрцгерцога”, Гидеон?» И поскольку это предложение исходило от Бет, которая уже была свидетелем моей другой, более интимной неудачи, я не смог заставить себя сказать: «Только не это. “Эрцгерцог” приносит мне несчастье».

Артисты верят в то, что отдельные произведения могут приносить им несчастье. Слово «Макбет», произносимое на театральных подмостках, имеет свои аналоги во всех сферах искусства. И если бы я назвал «Эрцгерцога» так, как следовало назвать его, – моим камнем преткновения, Бет поняла бы, несмотря на то, как мы расстались. А Шеррилли и вовсе было бы все равно, что играть. Он бы сказал в обычной для себя наплевательской американской манере, за которой прятал свой огромный талант: «Только покажите мне, мальчики и девочки, где тут клавиши», и все. То есть все это началось с меня, я сам позволил этому произойти. Вся вина на мне.

Папа отыскал меня там, куда я забился, не в силах принять его вызов: в беседке в саду, где я делаю наброски и клею своих воздушных змеев. Этим я и занимался – пытался набросать идею нового змея, когда он присоединился ко мне, как только убрал Гварнери в футляр, а футляр положил на место.

Он сказал: «Ты – это музыка, Гидеон. И только этого я хочу для тебя. Это все, чего я хочу».

Я ответил: «Мы тоже работаем как раз над этим».

«Чушь. Вы не придете к музыке через исписанные тетради и периодические возлежания на кушетке этой шарлатанки».

«Я не ложусь на кушетку».

«Ты отлично понимаешь, о чем я. – Желая полностью завладеть моим вниманием, он закрыл ладонью набросок, над которым я работал. – Гидеон, мы не сможем ограждать тебя от публики вечно. Пока нам это удастся, и Джоанна превыше всяких похвал, кстати, но в конце концов наступит такой момент, когда даже такой преданный тебе менеджер по связям с общественностью, как она, начнет спрашивать, а что же кроется под словом “переутомление”. И когда это случится, мне либо придется сказать ей правду, либо нужно будет придумать некую новую сказку, чтобы она могла скормить ее публике, и уж не знаю, какой из двух вариантов опаснее».

«Папа, – сказал я, – это просто безумие считать, что любителей желтой прессы хоть в малейшей степени волнует...»

«Я говорю не о желтой прессе. Верно, когда рок-звезда исчезает на неделю с подмостков, журналисты каждое утро перерывают его мусорный бачок в поисках объяснений. Это меня как раз не беспокоит, тут дело другое. Меня беспокоит мир, в котором мы живем, то есть мир с расписанием концертов на двадцать пять месяцев вперед, Гидеон, как хорошо тебе известно, мир с телефонными звонками, почти ежедневными, от организаторов музыкальных мероприятий, которые спрашивают о состоянии твоего здоровья. В данном случае “здоровье” – это не более чем эвфемизм для твоей игры. “Оправляется ли он от переутомления?” означает “Разрывать ли нам контракт или оставлять программу без изменений?”» Закончив эту тираду, папа медленно потянул к себе мой рисунок, и, хотя его пальцы смазывали карандашные линии, я ничего не сказал ему об этом и не остановил его. Поэтому он продолжил: «Так вот, сейчас я попрошу тебя сделать одну совсем несложную вещь. Прямо сейчас вернись в дом, поднимись в музыкальную комнату и возьми в руки скрипку. И сделай это не ради меня, потому что дело вовсе не во мне. Сделай это ради себя».

«Не могу».

«Я буду с тобой. Я буду рядом, буду поддерживать тебя, буду делать все, что тебе потребуется. Но ты должен взять ее в руки».

Наши взгляды встретились. Доктор Роуз, я буквально чувствовал, как отец внушает мне немедленно покинуть беседку, где я мастерила змею, уйти из сада, подняться в дом.

Он сказал: «Ты не узнаешь наверняка, есть ли от нее польза, если хотя бы не попытаешься играть».

Он имел в виду вас, доктор Роуз. Он имел в виду пользу от вас. Он имел в виду все эти долгие часы, потраченные мною на писанину. Он имел в виду наше с вами бесконечное копание в прошлом, чему он, судя по всему, готов помочь... если только я продемонстрирую ему, что могу, по крайней мере, поднять скрипку к плечу и провести по струнам смычком.

Поэтому я ничего не ответил, а просто вышел из беседки и зашагал к дому. В музыкальной комнате я не проследовал прямо к окну, где в последнее время выполняю ваше задание по письму, а пошел в дальний от окна угол, где лежит скрипичный футляр. Внутри – скрипка Гварнери, изящная, поблескивающая лаком, хранящая в своих деках, колках, эфах два с половиной века созидания музыки.

Я могу это сделать. Двадцать пять лет не могут просто взять и исчезнуть в одно мгновение. Все, чему я научился, все, что я знаю, все мои природные способности – все это спрятано где-то, может, скрыто оползнем, который я еще не разглядел, но все это есть во мне.

Папа встал рядом со мной возле футляра. Когда я потянулся к Гварнери, он положил ладонь мне на локоть и пробормотал: «Я не оставлю тебя, сынок. Все хорошо. Я здесь».

И в это мгновение зазвонил телефон.

Отец рефлексивно сжал пальцами мой локоть. «Не обращай внимания», – сказал он, имея в виду телефон. А поскольку я не обращал на телефон внимания уже не одну неделю, то послушаться папу мне не составило никакого труда.

Но включился автоответчик, и в комнате раздался голос Джил: «Гидеон? Ричард еще у тебя? Мне нужно срочно поговорить с ним. Или он уже уехал? Пожалуйста, сними трубку». Мы с отцом отреагировали одинаково, хором произнеся: «Ребенок». Отец метнулся к телефону.

«Я еще здесь, дорогая. С тобой все в порядке?» – спросил он, а потом замолчал, слушая.

Ее ответ был более распространенным, чем простое «да» или «нет». Когда она закончила, папа отвернулся от меня и произнес в трубку: «Что за звонок? – Он выслушал еще один пространственный ответ и наконец сказал: – Джил... Джил... Хватит. И зачем ты вообще ответила на него?»

Опять длинная пауза, во время которой Джил что-то объясняла ему. Очевидно, папа не дослушал ее, перебив словами: «Постой. Не глупи. Ты сама себя накручиваешь... Вряд ли следует возлагать на меня ответственность за какой-то странный звонок, когда... – Но и ему не удалось договорить, и лицо его потемнело, когда Джил что-то возразила ему. – Проклятье, Джил. Ты вслушайся в то, что говоришь. Ты ведешь себя совершенно неразумно». Эти заключительные слова он произнес тоном, который использовал, чтобы поставить точку в нежелательном для себя разговоре. Ледяным тоном. Властным, высокомерным и абсолютно спокойным.

Но Джил не собиралась так просто заканчивать этот разговор. Она снова заговорила. Папа слушал ее. Он стоял спиной ко мне, но я видел, как он напряжен. Прошла почти минута, прежде чем он смог вставить слово.

«Я еду домой, – коротко сказал он. – Мы не будем обсуждать это по телефону».

Он повесил трубку, и мне показалось, будто Джил в этот момент еще продолжала говорить. Отец развернулся и сказал мне, бросив короткий взгляд на Гварнери: «У тебя небольшая отсрочка».

«Надеюсь, дома порядок?» – спросил я.

«Порядка сейчас нигде нет» – таков был его ответ.

26 сентября, 23.30

По-видимому, отец, встретившись с Рафаэлем в сквере, поделился с моим бывшим учителем тем фактом, что я не смог сыграть для него. Это знание было написано на лице Рафаэля, когда он вошел в музыкальную комнату через несколько минут после того, как мы с отцом расстались. Глазами Рафаэль тут же нашел Гварнери.

«Я не могу», – сказал я.

«Он говорит, что ты не хочешь». Он нежно прикоснулся к инструменту. Таким жестом он мог бы приласкать женщину, если бы нашлась женщина, которая увидела бы в нем объект сексуальных желаний. Пока такой женщины не нашлось, насколько мне известно. Порой мне даже кажется, что только я сам – я и моя скрипка – не даю Рафаэлю погрузиться в полное одиночество.

Будто в подтверждение моим мыслям Рафаэль произнес: «Долго это не может продолжаться, Гидеон».

«А если может?» – спросил я.

«Нет. Не может».

«То есть ты на его стороне? Он что, сказал тебе там, – я указал на окно, – чтобы ты заставил меня играть?»

Рафаэль глянул в окно, на сквер, на деревья, начинающие понемногу желтеть, одеваясь в цвета осени. «Нет, – ответил он. – Он не говорил, чтобы я силой заставил тебя играть. Не сегодня. Мне показалось, что его мысли были заняты чем-то другим».

Я не очень-то поверил его словам, ведь я видел, с какой страстью жестикулировал отец, разговаривая с Рафаэлем под моими окнами. Однако я воспользовался представившейся возможностью сменить тему. «Почему моя мать ушла от нас? – спросил я. – Из-за Кати Вольф?»

Рафаэль нахмурился: «Я не могу обсуждать это с тобой».

«Я вспомнил Соню», – сообщил я ему.

Он потянулся к защелке на оконной раме, и я подумал, что он хочет открыть окно, чтобы впустить в комнату свежего воздуха или чтобы выйти на узкий балкончик. Но он не сделал ни того ни другого. Он бесцельно подергал механизм, и, наблюдая за ним, я вдруг осознал, о чем свидетельствует этот простой жест: если мы с Рафаэлем говорим не о скрипке и не о музыке, то наше с ним общение неполноценно.

Я повторил: «Я вспомнил ее, Рафаэль. Я вспомнил Соню. И Катю Вольф. Почему никто не говорил со мной о них?»

На лице его отразилась боль, и я решил, что он не захочет отвечать на этот вопрос. Но когда я уже готов был приступить к нему снова, он сказал: «Из-за того, что случилось с Соней».

«А что с ней случилось?»

В его голосе звучало нескрываемое удивление: «Ты что, в самом деле не помнишь? Я всегда считал, что ты не говоришь об этом только потому, что мы все тоже об этом не говорили. А ты, оказывается, ничего не помнишь».

Я потряс головой, и это признание вызвало во мне острый стыд. Она была моей сестрой, а я ничего о ней не помнил, доктор Роуз, пока мы с вами не начали этот процесс. Я начисто забыл о самом факте ее существования. Можете себе представить, как мне стыдно?

Рафаэль продолжал, деликатно оправдывая мой всепоглощающий эгоизм, который стер из моей памяти младшую сестру: «Но ведь тогда тебе было не больше восьми лет. И после суда мы никогда не упоминали о том событии. Во время суда мы старались говорить о нем как можно меньше, а потом решили вообще к нему не возвращаться. Даже твоя мать согласилась, хотя произошедшее сломало ее. Да. Я понимаю, как все это могло забыться».

Мой язык едва шевелился в пересохшем рту, но я смог выговорить: «Папа сказал мне, что она утонула. Соня утонула. Почему же был суд? Кого судили? За что?»

«Отец тебе больше ничего не рассказал?»

«Только то, что она утонула. Он... Мне показалось, что ему было очень нелегко рассказывать, как она умерла. Я не стал больше ни о чем расспрашивать. Но теперь... Суд? Ты хочешь сказать... суд?»

Рафаэль кивнул. И мой мозг тут же стал перебирать возможные варианты объяснений тому, что я сумел вспомнить или выспросить: Вирджиния умерла в младенчестве, у бабушки начинается «эпизод», мать без конца плачет в своей комнате, кто-то делает снимок в саду, сестра Сесилия в прихожей, папа кричит, а я в гостиной, пинаю ножки дивана, переворачиваю пюпитр, горячо заявляя, что я не буду играть эти детские гаммы.

«Твою сестру, Гидеон, убила Катя Вольф, – сказал мне Рафаэль. – Утопила ее в ванне».

28 сентября

Больше он ничего не сказал. Он просто замолчал, заткнулся, закрылся – поступил так, как поступают люди, достигшие предела того, что могут рассказать. Когда я переспросил: «Утопила? Намеренно? Когда? Почему?», ощущая, как страх запускает холодные пальцы в мой позвоночник, он произнес лишь: «Больше я ничего не могу сказать. Спроси своего отца».

Мой отец. Он сидит на моей кровати и смотрит на меня, и я боюсь.

«Чего вы боитесь? – спрашиваете вы. – Сколько вам лет, Гидеон?»

Я, должно быть, еще совсем мал, потому что он кажется мне большим, почти гигантом, хотя сейчас он примерно одного роста со мной. Его ладонь опускается мне на лоб...

«Этот жест успокаивает вас?»

Нет. Нет. Я отодвигаюсь.

«Он говорит что-нибудь?»

Поначалу нет. Просто сидит рядом со мной. Но потом он кладет руку мне на плечо, словно ожидает, что я захочу подняться, и удерживает меня, чтобы я лежал спокойно и слушал его. Я так и делаю. Я лежу, и мы смотрим друг на друга, а потом он начинает говорить: «Не бойся, Гидеон. Ты в безопасности».

«О чем он говорит? – спрашиваете вы. – Вам приснился дурной сон? Поэтому он сидит на вашей кровати? Или это что-то другое? Может, Катя Вольф? Это ее вам не надо бояться? Или это происходит еще раньше, до того, как Катя появилась в вашем доме?»

В доме есть и другие. Я это помню. Меня отослали в комнату в сопровождении Сары Джейн Беккет, и она бормочет, бормочет, бормочет что-то себе под нос, едва слышно. Она ходит из угла в угол, бормочет и тянет себя за пальцы, как будто хочет вырвать их. Она говорит: «Я знала. Я видела, что к этому все идет». Она говорит: «Грязная шлюшка», и я знаю, что это плохие слова, и я удивлен и испуган, потому что Сара Джейн не употребляет плохих слов. «Думала, что мы не узнаем, – говорит она. – Думала, мы не заметим».

«Не заметим чего?»

Не знаю.

За дверью моей комнаты раздаются шаги, и кто-то кричит: «Здесь! Сюда!» Я с трудом узнаю отцовский голос, звенящий от паники. А потом я слышу слова моей матери: «Ричард! О боже, Ричард! Ричард!» Дедушка ревет, бабушка причитает, и кто-то требует: «Очистить помещение, всем очистить помещение!» Этот голос я не узнаю. Услышав его, Сара Джейн перестает мерить комнату шагами и бормотать. Она замирает, прислонив голову к двери.

Потом звучат другие голоса – чужие. Кто-то задает несколько быстрых коротких вопросов, начинающихся со слова «как».

А потом опять шаги, постоянное движение, удары металлических ящиков о пол, лающие приказы, напряженные мужские голоса, и поверх всех этих пугающих звуков чей-то крик: «Нет! Я не оставляю ее одну!»

Это, должно быть, Катя, она использует настоящее время вместо прошедшего, что вполне ожидаемо от человека, плохо знающего английский, в минуту паники. И когда она произносит это со слезами в голосе, я слышу, как Сара Джейн шипит у двери: «Сучка!»

Она кладет ладонь на дверную ручку, и я думаю, что она хочет выйти в коридор, где происходит вся эта суета, но Сара Джейн остается в комнате. Она оборачивается и говорит мне, сидящему на кровати: «Похоже, теперь я не уеду».

«Не уедет? Она куда-то уезжала, Гидеон? Может, в отпуск? Когда она обычно брала отпуск?»

Нет, мне кажется, она не имеет в виду ежегодный отпуск. Почему-то мне кажется, что этот отъезд был бы окончательным.

«Может, ее уволили с места вашей учительницы?»

В этом нет смысла. Если ее хотели уволить за некомпетентность или за какой-то проступок, то почему смерть Сони позволила ей остаться и продолжать учить меня? Потому что так и было: Сара Джейн оставалась моей учительницей вплоть до тех пор, пока мне не исполнилось шестнадцать лет. Затем она вышла замуж и переехала в Челтенхем. Значит, она собиралась уехать по иной причине, но смерть Сони эту причину отменила.

«То есть получается, что Сара Джейн должна была уехать от вас из-за Сони?»

Выглядит именно так. Но объяснить это я не могу.

Глава 6

В «Кукольном коттедже» имелся и чердак, и это помещение стало последним местом, которое констебль Барбара Хейверс и инспектор Линли осмотрели в доме Юджинии Дэвис. Чердак представлял собой крохотный закуток между скатами крыши, и детективы попали в него через люк в потолке возле ванной комнаты. Внутри им пришлось чуть ли не ползать по застеленному ковровином полу. Отсутствие пыли свидетельствовало о том, что кто-то регулярно навещал чердак – то ли чтобы наводить чистоту, то ли чтобы перебирать хранящиеся здесь вещи.

– Так что вы думаете? – поинтересовалась Барбара у Линли, который в этот момент дергал шнур, прикрепленный к электрической лампочке под низким потолком. Конус желтого света упал на него сверху и скрыл в тени надбровий выражение его глаз. – Уайли говорит, что она хотела поговорить с ним, но это только его слова. И в случае чего ему достаточно лишь немного поменять время, которое он нам назвал.

– То есть вы хотите сказать, что у майора есть мотив? – уточнил Линли. – Кстати, здесь нет паутины, Хейверс.

– Уже отметила. И пыли тоже нет.

Линли провел ладонью по деревянному сундучку, стоящему рядом с несколькими большими картонными коробками. Сундук был закрыт на щеколду, но замка не было, и Линли поднял крышку и заглянул внутрь. Барбара тем временем подобралась к одной из коробок.

– Он три года терпеливо, кропотливо выстраивает отношения, которые, как он надеялся, приведут к чему-то большему, на что готова Юджиния. – Линли вернулся к теме мотива у майора Уайли. – В конце концов она вынуждена сообщить ему, что между ними никогда не может быть ничего большего, чем уже есть, из-за...

– Из-за того типа, который ездит на темно-синей или черной «ауди» и с которым она поссорилась на стоянке?

– Возможно. В отчаянии он едет за ней в Лондон – в смысле, майор Уайли – и сбивает ее машиной. Да. Такой ход событий вполне допустим.

– Но вы не считаете, что так и было?

– Я считаю, что еще слишком рано строить предположения. Что у вас?

Барбара разглядывала содержимое открытой коробки.

– Одежда.

– Ее?

Барбара подняла лежащий сверху предмет одежды и расправила его на весу. Это оказался детский вельветовый комбинезончик – розовый в желтый цветочек.

– Должно быть, дочкин.

Она засунула руки в коробку по самые плечи и вытащила разом ворох одежды: платья, свитера, пижамы, шорты, футболки, ботинки и носки. Все они явно принадлежали девочке – расцветка и украшения не оставляли в этом сомнений, а судя по размеру, носившей их девочке было не более двух лет. Значит, одежда действительно принадлежала убитому ребенку. Барбара сложила все обратно и занялась следующей коробкой.

Во второй коробке лежало постельное белье и другие принадлежности, относящиеся к детской кроватке: аккуратно сложенные простынки с рисунком в виде кроликов, музыкальные подвесные игрушки, потертая тряпичная гусыня, еще шесть мягких игрушек, мягкие маты, которыми обкладывают стенки кровати, чтобы ребенок не ударился о них головой.

В третьей коробке Барбара обнаружила все для купания малыша – от резиновой уточки до крохотного махрового халатика. Ей стало немного жутко: было что-то противоестественное в хранении купальных принадлежностей, учитывая то, какой конец нашла несчастная девочка.

Барбара не успела поделиться своим ощущением с Линли, который все еще занимался сундучком, потому что он в этот момент воскликнул:

– А вот это интересно! Взгляните-ка, Хейверс.

Она повернулась к нему и увидела, что он надел очки и держит в руках пачку газетных вырезок. На полу вокруг себя он разложил остальные свои находки: журналы, газеты и пять кожаных альбомов, в каких обычно хранят фотографии.

– Что там? – спросила Барбара.

– Она собрала целую библиотеку о Гидеоне.

– Вырезки из газет? О чем?

– О его игре на скрипке. – Линли оторвал взгляд от газетной статьи и пояснил: – Гидеон Дэвис, скрипач.

Сидевшая до этого на коленях перед коробками Барбара вернула на место губку в форме кошки и осторожно приподнялась, стараясь не стукнуться головой о потолок.

– Мне следовало завопить, услышав это имя?

– Вы не знаете... Впрочем, конечно, – сказал Линли. – Совсем забыл. Классическая музыка не входит в число ваших увлечений. Вот если бы он был солистом «Гнилых зубов»...

– Уж не осуждаете ли вы мои музыкальные вкусы?

– ...или другой группы в том же духе, то вы тут же узнали бы его.

– Может быть, – согласилась Барбара. – Так кто же он, этот парень?

Линли объяснил: скрипач-виртуоз, бывший вундеркинд, известный во всем мире музыкант, который выступает на публике как профессионал чуть ли не с десяти лет.

– И похоже, его мать хранила все статьи, которые хотя бы косвенно касались его карьеры.

– Несмотря на то, что они не общались? – спросила Хейверс. – Тогда получается, что это сын не хотел видеть мать. Или отец не хотел, чтобы они виделись.

– Вот именно, – согласился Линли, перебирая вырезки. – Надо же, у нее тут настоящая библиотека. И особенно много материала по его последнему концерту, включая бульварную прессу.

– Ну, если он такой известный...

Барбара выудила из купальных принадлежностей небольшой контейнер. Она открыла его – внутри оказались рецепты на лекарства, выписанные на имя Сони Дэвис.

– Видите ли, Хейверс, последний концерт обернулся фиаско, – поведал ей Линли. – Он должен был исполнять одно трио в Уигмор-холле, но отказался играть. Ушел со сцены в самом начале и с тех пор ни разу не выступал.

– Его величеству шлея под хвост попала?

– Кто его знает?

– Или приступ страха сцены?

– Тоже возможно. – Линли сложил листки вместе, и таблоиды, и толстые газеты. – Как я погляжу, она собрала все, что хоть как-то касается того концерта, даже упоминания в одну строку.

– Ну, ведь она его мать. А что в альбомах?

Линли открыл верхний из альбомов, и Барбара пристроилась у него за спиной. Страницы толстого тома были вместилищем новой порции газетных вырезок, только теперь к ним прибавились афиши, концертные программки, буклеты и брошюры музыкального заведения, которое называлось Восточная Лондонская консерватория.

– Интересно, что заставило их отдалиться друг от друга, – задумчиво произнесла Барбара, глядя на этот мемориал Гидеона Дэвиса.

– Это принципиальный вопрос, согласен, – кивнул Линли.

Они просмотрели остальное содержимое коробок и сундуков.

Все оно так или иначе касалось одного из двух детей Юджинии Дэвис – Сони или Гидеона. Можно подумать, рассуждала Барбара, что Юджинии Дэвис не существовало до тех пор, пока не появились ее дети. И когда она потеряла их, то исчезла и сама. Хотя, поправила себя Барбара, потеряла она только одного из детей.

– Нам надо будет найти этого Гидеона, – высказала она свое мнение.

– Непременно, – согласился инспектор.

Они сложили все как было и покинули чердак. Линли закрыл люк на щеколду и сказал:

– Принесите письма из спальни, Хейверс. А потом поедem в этот клуб, «Шестьдесят с плюсом». Может, там узнаем что-нибудь полезное.

Выйдя из коттеджа, они двинулись по Фрайди-стрит в сторону от реки и по пути миновали книжный магазин Теда Уайли. Барбара заметила, что майор следит за ними из-за стойки с художественными альбомами, причем он даже не потрудился скрыть этот факт. Ее внимание привлек носовой платок, который майор держал у лица. Плачет? Притворяется, что плачет? Или просто сморкается? Все-таки интересно, что он чувствует? Три года в ожидании взаимности – долгий срок, особенно если в конце его твои чувства и надежды оказываются никому ненужными.

Фрайди-стрит состояла наполовину из жилых домов, наполовину из офисов и магазинов. Затем она переходила в Дьюк-стрит, где располагался магазин музыкальных инструментов, в витрине которого были выставлены скрипки и виолончели, гитара, мандолина и банджо. Линли попросил Барбару подождать и подошел к витрине, чтобы рассмотреть инструменты. Барбара воспользовалась паузой и закурила. Из чувства долга она тоже уставилась в витрину, не совсем, впрочем, представляя себе, что они с Линли могут увидеть в ней.

Наконец ей надоело, и она спросила у Линли, который продолжал вглядываться в стекло, задумчиво поглаживая подбородок:

– Что? Ну что?

Инспектор ответил:

– Он похож на Менухина. В начале карьеры обоих много общего. Вопрос в том, схожи ли были их семьи. Менухин с первых же шагов получил полную поддержку со стороны родителей. Если Гидеон не...

– Мену... кто?

Линли бросил на нее взгляд.

– Еще один вундеркинд, Хейверс. – Он сложил руки на груди и переступил с ноги на ногу, как будто приготавливаясь к длительной лекции. – Тут есть над чем подумать: что происходит с жизнями родителей, когда они узнают, что их отпрыск – гений? На их плечи ложатся обязанности совсем иного плана, чем обязанности родителей обычного ребенка. А теперь добавьте к этим обязанностям еще и проблемы, с которыми сталкиваются родители другого необычного ребенка.

– Ребенка вроде Сони, – вставила Хейверс.

– И тот и другой набор обязанностей требует от родителей максимум напряжения и внимания, и тот и другой одинаково труден, но при этом труден по-своему.

– Но одинаково ли вознаграждаются родители в обоих случаях? И если нет, то как родители справляются? И как сказывается выполнение этих обязанностей на их браке?

Линли кивнул, не отрывая взгляда от скрипок. Обдумывая его слова, Барбара не могла не задаться вопросом, не заглядывает ли он в собственное будущее, рассматривая инструменты. Она еще не говорила ему о разговоре с его женой, состоявшемся прошлым вечером. Подходящего момента пока не нашлось. Но с другой стороны, его последние рассуждения давали ей отличный повод затронуть эту тему. И может, ему даже приятно будет поделиться с благожелательным слушателем потенциальными переживаниями относительно беременности Хелен. Не взваливать же эти переживания на беременную жену!

И она решилась.

– Немного волнуетесь, сэр? – спросила она и с некоторой тревогой затянулась сигаретой, потому что, хотя она проработали в паре с Линли уже три года, сферу частной жизни друг друга они затрагивали редко.

– Волнуюсь? О чем, Хейверс?

Она выпустила дым вбок, уголком рта, стараясь не дыхнуть в лицо напарника, который в этот момент обернулся к ней с вопросительным видом.

– Хелен вчера рассказала мне о... ну, вы знаете. Должно быть, тут есть о чем волноваться. Время от времени все об этом начинают переживать. Ну, вы понимаете. То есть...

Она провела рукой по волосам и застегнула верхнюю пуговицу куртки, но тут же вновь расстегнула ее, почувствовав, что задыхается.

Линли качнул головой.

– А-а... Ребенок. Да.

– Тут могут быть тревожные моменты, наверное...

– Да, моменты могут быть, – ровным голосом подтвердил Линли. Потом сказал: – Пойдемте, – и быстро зашагал прочь от магазина музыкальных инструментов, закрывая тему.

Станный ответ, раздумывала Барбара, догоняя инспектора. А потом поняла, что ожидала от него стереотипного ответа на ее вопрос о грядущем отцовстве. У этого парня впечатляющее генеалогическое древо. У него есть титул и семейное поместье, унаследованное им в двадцать с чем-то лет. То есть все вокруг него только и ожидают, что в ближайшее время он произведет наследника. И следовательно, он должен бы радоваться тому, что выполнит этот долг, да еще так быстро – в первые же несколько месяцев супружества.

Она хмуро докурила сигарету, потом швырнула окурок на асфальт. Он приземлился в лужу возле поребрика. «Мы совсем ничего не знаем о тех, рядом с кем живем», – подумала Барбара.

Клуб «Шестьдесят с плюсом» занимал скромное здание рядом с автомобильной стоянкой на Альберт-роуд. При входе Барбару и Линли встретила женщина с крупными зубами и рыжими волосами, одетая в несуразное цветастое платье, более подходящее для вечеринки в летнем саду, чем для серого ноябрьского дня. Она продемонстрировала им свой устрашающий оскал и представилась как Джорджия Рамсботтом, клубный секретарь, «единогласно утвержденный пятый год подряд». Чем она может им помочь? Речь идет об их родителях, которые не решаются самостоятельно наводить справки о деятельности клуба? Или о недавно овдовевшей матери? Или об отце, который пытается примириться с потерей возлюбленной половины?

– Порой наши пенсионеры, – сказала она, очевидно не причисляя себя к таковым, несмотря на тугую блестящую кожу на лице, которая говорила о ее усилиях по борьбе с процессом старения, – не очень охотно принимают перемены в жизни, вы согласны?

– Не только пенсионеры, – любезно произнес Линли, а затем достал свое удостоверение и представил себя и Барбару.

– О господи. Простите. Я по привычке решила... – Джорджия Рамсботтом понизила голос. – Полиция? Не знаю, смогу ли быть вам полезной. У меня ведь всего лишь выборная должность, понимаете ли.

– Пять лет подряд, – подхватила Барбара. – Поздравляем.

– Это что-нибудь насчет... Но в таком случае вы, наверное, желаете поговорить с нашим директором? Сегодня ее пока нет – уж и не знаю, что вам сказать, у Юджинии часто возникают неотложные дела вне стен клуба, но я могу позвонить ей домой, если вы не против подождать в игровой комнате.

Она указала на дверь, из которой вышла, чтобы встретить их. В проеме виднелись столы, за которыми по четверо сидели карточные игроки, по двое – шахматисты, а одиночка раскладывал пасьянс, явно возбужденный вопреки общеизвестному успокаивающему эффекту

этого занятия, периодически восклицая: «Черт возьми!» Сама же Джорджия шагнула в другую сторону, к закрытой двери с табличкой «Директор» на полупрозрачном стекле.

– Я только позвоню из ее кабинета, одну минуту.

– Вы говорите о миссис Дэвис? – спросил Линли.

– Да, о Юджинии Дэвис. Разумеется. Обычно она проводит здесь почти все время, за исключением дней, когда работает в одном из приютов. Она такая добрая, наша Юджиния. Такая щедрая. Воплощенное... – Тут Джорджия Рамсботтом запнулась, не зная, как закончить метафору, а потом и вовсе бросила ее. – Но если вы пришли к ней, то, должно быть, уже слышаны о... Я хочу сказать, ее добродетельность широко известна... Потому что иначе...

– Боюсь, она погибла, – сказал Линли.

– Погибла, – с заминкой повторила Джорджия Рамсботтом, непонимающе переводя взгляд с одного детектива на другого. – Юджиния Дэвис? Погибла?

– Да. Вчера ночью. В Лондоне.

– В Лондоне? Она... Господи, да что случилось? О боже, а Тедди уже знает?

Взгляд Джорджии метнулся к входной двери, в которую недавно вошли Барбара и Линли. На ее лице красноречиво отразилось желание немедленно полететь с дурными новостями к майору Теду Уайли.

– Он и Юджиния... – заговорила она быстро и негромко, словно игроков в соседней комнате могло волновать что-то еще, помимо их карт и шахмат. – Они были... Ну разумеется, ни один из них не заявлял об этом прямо и открыто, но такова уж была наша Юджиния, очень сдержанная. Она была не из тех, кто всем подряд рассказывает подробности своей личной жизни. Но достаточно было увидеть их вместе, чтобы понять, что Тед без ума от нее. И я, со своей стороны, была страшно рада за них обоих, потому что, хотя мы с Тедди и были когда-то парой, но он не совсем мой тип, и когда я передала его Юджинии, то нарадоваться не могла, что они прямо-таки идеально подошли друг другу. Как две половинки. Между ними было что-то такое, чего у нас с Тедди не возникло. Вы знаете, как это бывает. – Она снова предъявила им свои зубы. – Бедняжка Тед. Бедный, бедный майор. Он такой приятный мужчина. Любимец всего клуба.

– Он знает о миссис Дэвис, – сказал Линли. – Мы уже говорили с ним.

– Бедняга. Сначала его жена. Теперь это. Боже ты мой. – Она вздохнула. – Мне надо будет всем сообщить.

Барбара не могла не заметить, с каким предвкушением произнесла эти слова заслуженная сотрудница клуба.

Линли кивком указал на дверь директорского кабинета.

– Вы позволите нам пройти в кабинет?

Джорджия Рамсботтом всплеснула руками.

– О да. Конечно, конечно. Скорее всего, там не заперто. Обычно мы не закрываем его на ключ. Там стоит наш телефон, и, если Юджинии нет, а кто-то позвонит, нам нужно иметь доступ. Само собой. У некоторых членов нашего клуба супруги находятся в домах ухода за пожилыми, и любой звонок может означать...

Ее голос многозначительно смолк. Она повернула ручку и распахнула дверь, жестом пригласив Барбару и Линли пройти в кабинет.

– А могу я вас спросить... – заговорила она снова.

Войдя в кабинет, Линли остановился и обернулся к секретарю. Мимо него в глубь комнаты проследовала Барбара, подошла к единственному столу и села в кресло. На столе лежал ежедневник, который она тут же подтянула к себе.

– Да? – сказал Линли.

– А как Тед? Он очень... – Джорджия Рамсботтом всеми силами старалась не сбиваться с торжественно-печального тона. – Сильно ли расстроился Тед, инспектор? Мы с ним старые

друзья, и я подумала, может, мне нужно немедленно позвонить ему? Или лучше даже заглянуть к нему, утешить добрым словом и поддержкой?

Ну надо же, поразилась Барбара Хейверс. Труп еще не остыл, но вероятно, когда освобождается мужчина, нельзя терять ни минуты. И пока Линли, воплощенная вежливость, издавал все приличные моменты звуки в том духе, что только близкий друг может судить об уместности телефонного звонка или личного визита, а Джорджия Рамсботтом, погруженная в раздумья о том, что же будет предпочтительнее, вышла, Барбара обратилась к ежедневнику Юджинии Дэвис. Как вскоре стало ей известно, директор клуба для пожилых людей вела весьма активную жизнь. Ее расписание включало заседания комитетов, посвященных разным аспектам деятельности клуба, посещения учреждений с названиями вроде «Тихие сосны», «Вид на реку» или «Ивы» – должно быть, домов престарелых, свидания с майором Уайли, помеченные словом «Тед» напротив времени, и ряд встреч с указанием названий, похожих на названия пабов и гостиниц. Эти последние появлялись в ежедневнике не часто, но довольно регулярно, по крайней мере раз в месяц; зависимости от дней недели Барбара не увидела. Одна деталь привлекла ее особый интерес: эти встречи фигурировали не только в прошедшие месяцы года, не только в текущем ноябре, но и вплоть до самого конца ежедневника, который включал и первое полугодие следующего года. Барбара указала на это инспектору, который уже начал просматривать личную телефонную книжку Юджинии Дэвис, найденную им в верхнем правом ящике письменного стола.

– План встреч на год? – тоже удивился он.

– Любительница пабов? – предположила Барбара. – Гостиничный критик? Вряд ли. Послушайте: «Колесо Кэтрин», «Голова короля», «Лисица и перчатка», «Клариджес»... Так, это уже не паб, а гостиница... Что вам это напоминает? Лично мне – свидания.

– И всего одна гостиница?

– Нет, есть еще. Вот, например, «Астория». И «Лордс оф мэноу». И еще «Ле Меридьен». И в городе, и за городом. Она встречалась с кем-то, инспектор, и я уверена, этот «кто-то» не был Уайли.

– Позвоните в гостиницы. Узнайте, не бронировала ли она номер.

– Скукотища!

– То, ради чего люди мечтают стать полицейскими.

Делая звонки, Барбара попутно просмотрела содержимое ящиков стола Юджинии Дэвис. Она нашла канцелярские принадлежности: визитки, конверты и ручки, скотч и скрепки, резинки, ножницы, карандаши и бумагу. В папках хранились контракты и переписка с поставщиками продуктов питания, мебели, компьютеров и копировальной техники. К тому времени, когда Барбаре удалось узнать, что в первой из гостиниц не имелось записей о пребывании там Юджинии Дэвис, она также удостоверилась, что в ящиках письменного стола не имелось ничего, имеющего отношение к частной жизни директора клуба «Шестьдесят с плюсом».

Затем Барбара обратила свое внимание на поверхность стола, поскольку компьютером уже занялся Линли. Он готовился погрузиться в кибермир погибшей женщины, а Хейверс вытащила ее входящую корреспонденцию из соответствующим образом надписанного подноса для бумаг.

Как и ежедневник, входящие документы не фонтанировали интересной информацией. Три заявления на членство в клубе «Шестьдесят с плюсом» – все от недавно овдовевших женщин семидесяти с лишним лет. Проекты будущих мероприятий. Обнаружив, что клуб вовлекал своих членов в самые разнообразные виды деятельности, Барбара даже присвистнула от удивления. К грядущим рождественским праздникам пенсионеры составили для себя богатейшую программу, в которой было все, начиная от автобусной поездки в Бат на праздничный ужин с представлением и заканчивая гала-концертом в новогоднюю ночь: вечеринки, ужины, танцы, встречи на свежем воздухе, церковные службы. Преодолевшие шестидесяти-

летний рубеж члены клуба, похоже, не желали тратить свои золотые годы на пассивное созерцание карусели жизни.

За спиной у Барбары загудел вышедший из режима ожидания компьютер. Она встала и подошла к единственному в кабинете сейфу для хранения документов, освободив кресло для Линли, который тут же занял его и развернулся лицом к монитору. Сейф был оборудован замком, но оказался незапертым, так что Барбара беспрепятственно вытащила первый ящик и стала перебирать папки. Все они по большей части содержали переписку с другими организациями британских пенсионеров. Также там хранились документы, касающиеся медицинского обслуживания и различных государственных программ для престарелых, материалы, посвященные болезням пожилых людей – от остеопороза до болезни Альцгеймера, и пухлые подборки, освещающие юридические тонкости завещаний, доверительных фондов и инвестирования. В кожаной папке Юджиния Дэвис собрала письма от детей членов клуба «Шестьдесят с плюсом». В основном в этих письмах люди выражали клубу благодарность за то, что он помог папе или маме справиться с горем, одиночеством или депрессией. Однако несколько человек высказывали опасения, что привязанность их отца или матери к клубу наносит ущерб родственным связям. Такие послания Барбара вытащила из папки и положила на стол. Кто знает, может, один из обеспокоенных родственников решил положить конец слишком уж крепкой связи папы или мамы с директором клуба. Да и сама эта крепкая связь может привести к чему угодно. На всякий случай Барбара проверила, не подписал ли одно из этих писем кто-нибудь по фамилии Уайли. Оказалось, что нет, но это вовсе не означало, что у майора не было замужней дочери, которая письменно обратилась к Юджинии Дэвис.

Одна из папок была особенно интересна тем, что в ней Юджиния держала фотографии клубных мероприятий. Переворачивая страницы, Барбара отметила, что майор Уайли присутствовал почти на всех снимках, причем обычно он находился в компании женщины, то висящей у него на локте, то опирающейся о его плечо, то восседающей у него на коленях. Джорджия Рамсботтом. «Бедняжка Тед». Ага, подумала Барбара, а вслух произнесла:

– Инспектор...

В это же время Линли тоже окликнул ее:

– Тут кое-что есть, Хейверс.

С фотографиями в руке она приблизилась к компьютеру. Линли успел подключиться к Интернету и вывел на экран почтовый ящик Юджинии Дэвис.

– У нее не было пароля? – спросила Барбара, передавая Линли фотографии.

– Был, – пожал плечами Линли. – Но, учитывая обстоятельства, угадать его не составило труда.

– Имя одного из ее детей? – предположила Барбара.

– «Соня», – подтвердил Линли и неожиданно ругнулся: – Черт!

– Что там?

– Ничего.

– Ни одного подходящего сообщения с угрозами? Никакой договоренности о встрече в Хэмпстеде? И даже ни одного приглашения в «Ле Меридьен»?

– Вообще ничего. – Линли взглядылся в экран. – Как можно поднять старую переписку, Хейверс? Может, она хранится где-нибудь?

– Вы меня спрашиваете? – хмыкнула Барбара. – Я только-только освоилась с мобильным телефоном.

– Нам нужно добраться до ее старых писем. Если они существуют.

– Тогда придется забрать его с собой, – сделала вывод Хейверс. – Я про компьютер, сэр. Наверняка в Лондоне найдется человек, который сможет разобраться с этим.

– Такой человек существует, – ответил Линли.

Он рассматривал фотографии, отобранные Барбарой, но, по-видимому, не очень внимательно.

– Джорджия Рамсботтом, – подсказала ему Барбара. – Похоже, она и дорогой бедняжка Тедди одно время были довольно близки.

– Шестидесятилетние женщины давят друг друга машинами? – недоверчиво спросил Линли.

– Как один из вариантов, – не отступилась Барбара. – Надо проверить, не смят ли бампер ее автомобиля.

– Почему-то я сомневаюсь в этом, – ответил Линли.

– Но все равно надо проверить. Нельзя оставлять...

– Да-да, проверим. Надеюсь, ее машина стоит на здешней стоянке.

Но в голосе его не было интереса, и Барбаре не очень понравилось, что он равнодушно отложил пачку фотографий и вернулся к монитору, явно приняв какое-то решение. Он закрыл почтовую программу, выключил компьютер и стал отсоединять шнуры.

– Давайте сначала узнаем, что делала Юджиния Дэвис в Сети. Я не компьютерный гений, но точно усвоил, что невозможно выйти в Интернет, не оставив после себя цепочку следов.

– Кремовые Трусика. – Старший инспектор Лич старался сохранить бесстрастный вид. Он работал копом двадцать шесть лет и давным-давно понял, что в его работе только законченный тупица мог бы решить, будто ему уже не услышать ничего нового от своих собратьев по человеческой расе. Однако только что прозвучавшее заявление достойно было занять место в анналах полицейских расследований. – Вы сказали «Кремовые Трусика», мистер Пичли?

Они находились в комнате для допросов полицейского участка: Дж. В. Пичли, его адвокат Джейкоб Азофф – миниатюрный человек с пучками волос в ноздрях и кофейным пятном на галстукке, констебль полиции Стэнвуд и сам Лич, который проводил допрос. Он только что выпил стакан растворимого порошка от простуды и гадал, сколько времени понадобится его иммунной системе, чтобы адаптироваться к его нынешнему образу жизни одинокого мужчины. Стоило ему пройтись однажды по пабам, как в его организме развили бурную деятельность все известные науке вирусы.

Адвокат Пичли позвонил менее двух часов назад. Азофф проинформировал Лича, что его клиент желает сделать заявление. При этом он желает получить гарантии, что данное заявление останется конфиденциальным, только между нами, мальчиками, что обращаться с ним будут аккуратно, разве что святой водой не сбрызнут. Другими словами, Пичли хочет, чтобы его имя не стало достоянием прессы, и если существует хотя бы ничтожный шанс, что журналисты прознают о нем... и так далее, и тому подобное. Скуотица.

– Он уже бывал в подобной ситуации, – вещал Азофф напыщенным тоном, – так что если мы сможем достигнуть предварительного соглашения относительно конфиденциальности данной беседы, старший инспектор Лич, то, по моему глубокому убеждению, вы получите человека, могущего оказать серьезную помощь в расследовании.

Вот таким образом в участке в скором времени появились Пичли и его адвокат. Их провели внутрь через заднюю дверь, как секретных агентов, усадили за стол и снабдили напитками по вкусу – свежесжатый апельсиновый сок и газированная минеральная вода со льдом и лаймом, не лимоном, благодарю вас, после чего Лич нажал на кнопку диктофона и назвал дату, время и имена всех присутствующих.

До определенного момента история Пичли не отличалась от той, что он рассказал им вчера ночью, хотя он предоставил больше подробностей, сообщая следствию адреса и даты и даже имена. К сожалению, этот последний пункт – имена – по-прежнему представлял собой загадку: помимо прозвищ, Пичли не смог назвать настоящих имен своих партнеров по любовным утехам в «Комфорт-инн», которые могли бы подтвердить его слова.

И поэтому Лич имел все основания поинтересоваться:

– Мистер Пичли, как, по-вашему, мы сможем отыскать эту женщину? Если она не пожелаела назваться парню, который совал в нее свой член...

– Прошу вас не использовать подобных выражений, – с некоторой обидой перебил его Пичли.

– ...то разумно ли ожидать от нее откровенности, когда за информацией к ней обратятся копы? Вам ничего не приходит в голову, когда человек скрывает свое имя?

– Мы всегда...

– Вам не приходит в голову, что такой человек, в данном случае женщина, не желает, чтобы ее нашли, кроме как посредством общения по Интернету?

– Это всего лишь часть игры, в которую...

– А если она не желает, чтобы ее нашли, то не значит ли это, что рядом с ней есть кто-то, вероятно муж, и этот муж не будет с благосклонностью взирать на парня, который перепихнулся с его женой и который в один прекрасный день позвонит к ним в дверь с цветами и шоколадом, рассчитывая получить алиби от этого мужа и его неверной жены?

Пичли краснел на глазах. А Лич, со своей стороны, никак не мог прийти в себя от услышанного. Заикаясь и запинаясь, этот Пичли признался в том, что он является виртуальным казановой и регулярно соблазняет женщин преклонных лет, ни одна из которых не открыла ему своего имени и не спросила, как зовут его самого. Пичли утверждал, что он не может вспомнить точное количество женщин, с которыми имел свидания с момента возникновения электронной почты и чатов, и тем более не помнит всех их прозвищ, однако он мог бы поклясться на стопке из восьмидесяти пяти религиозных книг на выбор старшего инспектора Лича, что со всеми этими женщинами он следовал одному и тому же порядку: достигнув соглашения о свидании, они встречались в ресторане «Королевская долина» в Южном Кенсингтоне, чтобы выпить или перекусить, а затем отводили несколько часов активному и изобретательному сексуальному соитию в гостинице «Комфорт-инн», что на Кромвель-роуд.

– То есть вас могли запомнить служащие гостиницы или ресторана? – спросил Лич.

С этим, как поведал Пичли, тоже могли возникнуть проблемы. Официанты в «Королевской долине» – иностранцы, знаете ли. Ночной портье в «Комфорт-инн» – также, к сожалению, иностранец. А иностранцы зачастую не могут отличить одного англичанина от другого. Потому что иностранцы...

– Две трети Лондона – иностранцы, – остановил его Лич. – Если вы не можете сообщить нам ничего более конкретного, чем все ранее вами сказанное, мистер Пичли, то, боюсь, мы понапрасну теряем здесь время.

– Могу ли я напомнить вам, старший инспектор Лич, что мистер Пичли добровольно явился в участок? – решил вмешаться Джейк Азофф. Апельсиновый сок заказывал он, и Лич заметил, что к его усам прилипла капля мякоти, похожая на птичий помет панковской раскраски. – Вероятно, более выраженное проявление вежливости с вашей стороны оказало бы благотворное влияние на способность моего клиента припомнить интересующие вас детали.

– Полагаю, что мистер Пичли прибыл в участок потому, что вчера он рассказал нам не все, что должен был, – парировал Лич. – Пока что мы получили лишь вариацию на ту же тему, и все это напоминает зыбучие пески, в которых ваш клиент увяз уже по самую грудь.

– Ваше умозаключение кажется мне лишенным каких бы то ни было оснований! – возмущенно фыркнул Азофф.

– Неужели? Позвольте просветить вас. Если только мне это не приснилось, мистер Пичли только что сообщил нам, что его хобби состоит в выискивании через Интернет женщин пятидесяти с лишним лет, готовых поболтать с ним о сексе и в дальнейшем переспать с ним. Он также поведал нам, что достиг на этой арене значительного успеха. Столь значительного, что

не в силах припомнить количество женщин, удостоившихся близкого знакомства с его эротическими талантами. Верно ли я передаю суть вашего рассказа, мистер Пичли?

Пичли заерзал и глотнул минеральной воды. Его лицо все еще горело, и, когда он кивнул, волосы мышиного цвета с пробором посередине, от которого по обе стороны вздымались два крыла, упали ему на лоб. Голову он опустил уже несколько минут назад и старался больше не поднимать. Его мучило то ли смущение, то ли сожаление, а что касается умышленного запутывания следствия... Кто, черт возьми, может сказать наверняка?

– Отлично. Давайте продолжим. Итак, мы имеем пожилую женщину, которую переехало транспортное средство на улице, где проживает мистер Пичли, в нескольких ярдах от его дома. Эта женщина обладала листком, где был записан адрес мистера Пичли. Что это может означать?

– Я бы не стал делать никаких выводов, – сказал Азофф.

– Естественно. Однако моя работа состоит именно в том, чтобы делать выводы. И в данном случае я делаю вывод, что наша леди направлялась на встречу с мистером Пичли.

– Мы никоим образом не подтверждали, что мистер Пичли ожидал или вообще знал эту женщину.

– А если она действительно направлялась на встречу с мистером Пичли, то мистер Пичли только что лично предоставил нам возможную причину такой встречи. – Лич подчеркнул свои слова тем, что наклонился вперед, а заодно попробовал разглядеть, что происходит под занавесом серых волос Пичли. – Она была примерно того возраста, к которому вы, Пичли, питаете известную слабость. Шестьдесят два года. Неплохая фигура, насколько можно судить после того, как автомобиль проутюжил ее несколько раз взад и вперед. В разводе. Повторно замуж не выходила. Жила без детей. Интересно, есть ли у нее дома компьютер? Надо же как-то коротать вечера, когда в Хенли ей становилось одиноко.

– Это просто невозможно, – сказал Пичли. – Никто из них не знает, где я живу. Они понятия не имеют, как найти меня после того, как мы... как мы... расстанемся на Кромвель-роуд.

– То есть вы трахаете их и исчезаете, – подытожил Лич. – Шикарно устроился, а? Но что, если одна из них решила, что ей такой порядок не нравится? Что, если одна из них проследила за вами до самого дома? Не прошлой ночью, разумеется, а когда-нибудь раньше. Проследила за вами, запомнила, где вы живете, и, не получив от вас приглашения встретиться снова, стала ждать удобного случая.

– Ничего подобного. Она не могла этого сделать.

– Почему?

– Потому что я никогда не еду сразу домой. Покинув гостиницу, я как минимум полчаса, иногда час еду по округе, чтобы удостовериться... – Он помолчал, изобразив на лице некое подобие неловкости. – Ну, чтобы удостовериться, что за мной никто не следит.

– Как мудро, – с иронией проговорил Лич.

– Я понимаю, как это выглядит. Я допускаю, что и сам я выгляжу полным дерьмом. Что ж, значит, я таков и есть. Но при этом я не тот, кто давит женщин машиной, и вы, черт побери, знаете это, потому что осмотрели мою машину. Или вместо этого вы катались на ней по Лондону? Короче, я требую, чтобы мне вернули мой «бокстер», старший инспектор Лич.

– Да что вы говорите!

– Это и говорю. Вы хотели информацию, я вам ее дал. Я рассказал вам, где был прошлой ночью, рассказал почему и рассказал с кем.

– С Кремовыми Трусиками.

– Ладно. Я попробую снова связаться с ней. Попробую уговорить ее подтвердить мои слова, если вам это так нужно.

– Советую вам так и поступить, – сказал Лич. – Но, учитывая ваши собственные слова, я не вижу, как ее признание повлияет на общую картину.

– Как это? Ведь я не мог быть в двух местах одновременно.

– Не могли, верно. Но даже если мисс Кремовые Трусики или, скорее, миссис Кремовые Трусики... – Лич не смог скрыть насмешки, а точнее, не очень-то и старался. – Если она и подтвердит вашу версию событий, в одном пункте она не сможет помочь вам. А именно: она не сможет нам сказать, где вы катались на протяжении часа или получаса после того, как закончили с ней резвиться. Если же вы станете утверждать, что она могла проследить за вами, то снова окажетесь на тонком льду. Ведь это будет означать, что после аналогичных упражнений на Кромвель-роуд за вами могла проследить и Юджиния Дэвис.

Внезапно Пичли оттолкнулся от стола с такой силой, что стул под ним пронзительно взвизгнул, скребя ножками по полу.

– Кто? – Его голос был хриплым, как будто слова исторгало не горло, а два куска наждачной бумаги. – Кто, вы сказали?

– Юджиния Дэвис. Погибшая женщина. – Еще не договорив, старший инспектор Лич прочитал на лице Пичли новую реальность. – Вы ее знаете. Вы знаете ее под настоящим именем. Значит, вы знаете ее, мистер Пичли?

– О боже, – простонал Пичли.

Азофф тут же подскочил к клиенту:

– Возьмем перерыв на пять минут?

Ответа не потребовалось, потому что в этот момент в дверь постучали и в комнату для допросов заглянула девушка-констебль. Она обратилась к Личу:

– Вам звонит инспектор Линли, сэр. Ответите сейчас или сказать ему, чтобы перезвонил?

– Пять минут, – коротко бросил Лич Пичли и Азоффу.

Он подхватил свои бумаги и вышел из комнаты.

Жизнь – вовсе не беспрерывная череда событий, как кажется. На самом деле это карусель. В детстве человек садится верхом на галопирующего пони и отправляется в путешествие, по ходу которого, как предполагает этот человек, условия и обстоятельства будут меняться. Но правда состоит в том, что жизнь – это бесконечное повторение того, что уже случилось раньше... круг за кругом, снова и снова, вверх и вниз скачет пони. И если человек не будет решать проблемы, встающие на его пути, то они опять будут возникать в той или иной форме до конца его дней. Если раньше Дж. В. Пичли не подписался бы под таким утверждением, то теперь стал ярым его приверженцем.

Он стоял на ступенях полицейского участка в Хэмпстеде и выслушивал разглагольствования своего адвоката Джейка Азоффа. В основном это был монолог на тему о доверии между клиентом и его юристом. Азофф закончил свою речь словами:

– Неужели ты думаешь, что я пошел бы с тобой в этот хренов участок, если бы знал, что ты, черт тебя подери, скрываешься, задница ты этакая? Из-за тебя я выглядел полным дураком, и как, по-твоему, это отразится на моей репутации у копов?

Пичли мог бы сказать, что сейчас дело вовсе не в Джейке и не в его репутации, но не стал себя утруждать. Он вообще ничего не сказал, что побудило разъяренного Азоффа воскликнуть:

– И как вы теперь прикажете называть вас, сэр? – Это «сэр» было употреблено с единственной целью подчеркнуть всю степень презрения адвоката. – Кто будет фигурировать в наших дальнейших контактах – Пичли или Пичфорд?

– Пичли абсолютно легальное имя, – ответил Дж. В. Пичли. – В том, как я сменил имя, нет ничего противозаконного, Джейк.

– Может быть, – отозвался Азофф. – Но я хочу, чтобы все «почему», «когда» и «как» в письменном виде лежали на моем столе завтра же. Факсом, электронной почтой, голубем – как угодно. А потом мы посмотрим, как будут развиваться наши дальнейшие профессиональные отношения.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.